

РА
70
—
К-15
иш

ӘСА ДЕ КАЙРОШ

**ПЕРЕПИСКА
ФРАДИКА МЕНДЕША**

РА
70 исп.
K15

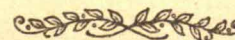
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

K-15

Эса де Кейрош, Ж. М.
ЭСА ДЕ КАЙРОШ

ПЕРЕПИСКА ФРАДИКА МЕНДЕША

ПЕРЕВОД Г. Л. ЛОЗИНСКОГО
И Е. Н. ЛАВРОВОЙ. ПРЕДИ-
СЛОВИЕ Г. Л. ЛОЗИНСКОГО.
ПРИМЕЧАНИЯ Г. Л. ЛОЗИН-
СКОГО И Б. А. КРЖЕВСКОГО



БЕРЛИН МСМХХІІІ

1

ГОСУД. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР
№ 24911 1975 г. ✓

к
БИБЛИОТЕКА
№ 12561
ДОМ УЧИТЕЛЕЙ

ПЕРЕПИСКА ФРАДИКА МЕНДЕША

A correspondencia de Fradique Mendes

1891

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Мы не станем останавливаться на личности Карлоша Фрадика-Мендеша. Она достаточно ярко очерчена в самой книге, а более подробный комментарий читатель найдет в общем критико-биографическом этюде, посвященном Эсе-де-Кэйрош (т. I, Собрания его сочинений в издании «Всемирной Литературы»). Там мы постарались выяснить с возможной полнотой основные особенности характера Фрадика и роль, которую он играл в кругу единомышленников Эсы.

Настоящая заметка имеет целью оттенить те два момента политической и культурной истории Португалии, которые связаны с появлением «Переписки Фрадика-Мендеша», то-есть 60-е годы, годы первого знакомства Эсы с Фрадиком, и конец 80-х, начало 90-х, когда книга появилась в печати.

Но «Переписка» интересна не только, как документ, помогающий познать известную эпоху. В выборе писем Эса-де-Кэйрош руководился определенной идеей: и он остановился на тех из них, что лучше всего отвечали его настроению, его идеалам. Эти идеалы и настроения отражаются в разных его повестях и романах, а герои Эсы иногда напоминают нам тот образ, который встает перед нами, как живой, со страниц «Переписки».

Воспоминания Эсы — любопытный и ценный материал для изучения некоторых сторон португальской культуры второй половины XIX века. Но это не строго проверенные мемуары. Не стоит особого труда отметить в них ряд неточностей: ошибки в датах (год поездки Эсы на Восток), путаницу почти во всем том, что касается России; имена Новалиса и Гегеля, повидимому, стоят вместо имён Гейне и Гете или Теофиля Готье и Виктора Гюго; в красивом примере из жизни мореплавателя Хуана Понсе-де-Леон, как оговорено в примечании к тексту, встречается хронологическая неточность, которую автор мог бы устранить, справившись в каком-нибудь словаре. Но едва ли важно подчеркивать все эти несоответствия в мелочах и шаг за шагом комментировать «Переписку». Не в безупречной точности приводимых фактов заключается ценность книги. Целью автора воспоминаний и издателя переписки, — беллетриста, а не ученого историка, — было воссоздать дорогой ему образ, чтобы почтить память друга и ободрить своих соотечественников.

«В смутное и горькое время, которое мы переживаем, португальцев в роде Фрадика нельзя предавать вечному забвению, вдали от родины,

под безмолвною плитой мрамора, — говорит Эса-де-Кэйрош в заключительных строках первой части. — Поэтому я открываю его своим соотечественникам, как знак утешения и надежды».

Это «смутное и горькое время» воистину — время тяжелых испытаний для родины Эсы. Три раза пыталась Португалия построить свое благополучие на колониальной политике: первый раз, когда Вашко-да-Гама открыл морской путь в Индию, и вслед за ним на восток устремились португальские эскадры завоевывать новые владения и рынки; но, не располагая продуманным экономическим и стратегическим планом, Португальцы искали только легкой наживы, возбуждая против себя туземное население, и не обеспечили метрополии долговременного господства на Востоке. Вместе с потерей независимости (1580 до 1640 — присоединение Португалии к испанской монархии) они утратили большинство своих индийских владений, перешедших к более предприимчивым и предусмотрительным англичанам и голландцам. Второй момент расцвета португальской колониальной политики относится к XVIII веку, когда в Бразилии открылись богатейшие золотые и алмазные россыпи. Не развивая ни отечественной торговли, ни промышленности, Португалия в течение десятилетий жила бразильским золотом, которое шло на оплату товаров, поставляемых небескорыстной союзницей, Англией, и на покрытие ничем не стесненных расходов двора и клерикальных кругов. И на этот раз последовал экономический крах, совпавший с наполеоновскими войнами, когда вторично (1807 г.) Лисабон был занят иностранцами. Бразилия откололась от метрополии (1823—25 г.), предпочитая тратить на себя свои колоссальные естественные богатства. Вся первая половина XIX века проходит в постоянных междоусобицах и военных переворотах, в смене враждующих партий. Вторая половина сопровождается некоторым улучшением: внутреннее брожение утихает, Португалия переходит к мирному труду; строятся железные дороги, повышается уровень народного образования, несколько улучшается финансовое положение, распатанное до основания смуту и утратой бразильских ресурсов. Но и после потери южно-американской колонии, у Португалии оставались обширные владения в Западной и Восточной Африке. Они могли явиться залогом экономического возрождения страны, и именно на колониальную политику обратили внимание государственные деятели Португалии в 70-х и 80-х годах. Дело шло о соединении территорий на берегах Атлантического и Индийского океанов, об образовании транс-африканской колонии. При осуществлении этого честолюбивого замысла португальцы натолкнулись на непреодолимое препятствие со стороны Англии, которая отнюдь не сочувствовала усилению своей вассальной союзницы. Несмотря на сильнейшее возбуждение португальского общества, правительству пришлось подчиниться ультимативным требованиям британского кабинета и отказаться от своего колониального плана (1891 г.). При таких неблагоприятных предзнаменованиях началось царствование короля Дон Карлоса I (1889 г.), трагически кончившего свою жизнь 1 февраля 1908 года.

Вот к этой эпохе, эпохе конфликта с Англией, за которым последовало еще немало испытаний, не менее оскорбительных для национального достоинства и вызванных расстройством экономического и фи-

нансового положения, и относится появление «Переписки». Люди круга Эсы с особенной болью переживали несчастья своей родины. Антеро-де-Кентал, друг и единомышленник Эсы¹⁾, принял на себя председательствование в «Северной Патриотической Лиге»²⁾, задавшей целью объединить все здоровые элементы страны, не затронутые развращающим влиянием лисабонского политикаства, и создать ядро, на которое могла бы опереться Португалия в дни тяжелых потрясений. Но «Лига» распалась, не успев организовать, обнаружив неспособность или неподготовленность португальского общества к внушительному выступлению, непонимание переживаемых событий, какую-то закоренелую нравственную апатию.

Вот это-то общество должны были разбудить страницы воспоминаний Эсы о Фрадице-Мендеше, португальце, непохожем на громадное большинство его современников.

Сумел бы Фрадик, — доживи он до 1889—1891 годов, — направить их по более плодотворной и достойной дороге? Мы думаем, Эса ответил бы на этот вопрос отрицательно, так как интересы Фрадика чужды, даже враждебны политике. Искренний патриот, воплощенная энергия и выносливость, он всё же направлял свои силы на преодоление иных препятствий, эгоистически ограничиваясь сферой личных интересов и впечатлений, незаметно, без подчеркивания, не допуская никого в свою интимную жизнь.

Но Фрадик доказывает на своем примере, каких великих результатов может достигнуть человек, работая над собою, расширяя беспрестанно свой умственный кругозор, завоевывал своею напористой энергией жизнь признание и уважение современников, без различия национальностей. Пример такой жизни должен встряхнуть португальцев, пробудить их от вековой спячки и южной лени, направить на творческую работу, богатую исканиями и достижениями. Вот такова была одна из целей Эсы, когда он опубликовывал «Переписку». И в этом смысле она отражает интересный, хотя и печальный момент португальской общественной жизни.

Другая эпоха, которая затрагивается книгой (первой ее частью) — это 60-е годы прошлого века, когда Эса познакомился с Фрадиком. Время это имело очень большое значение для передовых представителей португальского общества. Оно означает перелом в развитии национальной литературы, смену старых кумиров новыми, ослабление авторитета португальских романтиков, лучшее знакомство молодежи с Гюго, Водлером, парнасцами, и появление на сцене новой школы во главе с Флорбером.

Португальская романтическая поэзия пережила себя в середине столетия. Первые ее представители, Алмайда-Гаррету и Каштильо, начинают с классических образцов XVIII века и лишь впоследствии переходят к романтической манере и темам под влиянием Байрона и французских (отчасти, и не непосредственно, — также немецких) романти-

¹⁾ См. о нем нашу статью к I тому Собрания сочинений Эсы.

²⁾ Об этой лиге см. в сборнике «Anthero de Quental. In memoriam». Porto 1896, стр. 129 сл., 513 сл.

ков. Но облюбленные ими темы быстро изживают себя¹⁾; их подражательный характер и однообразное содержание резко дают себя чувствовать. И тем не менее эта поэзия пользуется, так сказать, официальным признанием. Только писатели, примкнувшие к Капитулу, находят сбыт на книжном рынке.

Воспитанные на иных иностранных образцах, сверстники Эсы тягостятся этим застоём. Нарушающий все доселе установленные каноны Бодлер кажется им новым, недостижимым божеством.

И вот к этому увлечению французской поэзией со своей разрушительной критикой подходит новый друг Эсы, Фрадик-Мендеш. Мысли, высказанные им тогда в номере гостиницы, конечно, должны были показаться чудовищными молодому энтузиасту. Но интересно, что со временем они стали мыслями самого Эсы. В изданной после смерти автора статье «O Francismo», написанной, повидимому, около 1890 г., мы встречаем положения, почти дословно совпадающие с парадоксами Фрадика. Так, например:

«Французы никогда не были поэтами, и естественное выражение французского гения — проза. Без глубокого, благоговейного, пылкого волнения нет поэзии: а Франция никогда не волнуется, сохраняя постоянно равновесие чувства и разума, оставаясь всегда госпожей своего ясного рассудка. Классики французской поэзии, Матюрен Ренье, Буало, Ла Фонтен — люди здравого смысла, холодной критики, честного нравоучения. Знатки поэзии во Франции тогда — главным образом — ценяя поэтов, когда те доводят до высшей степени эти превосходные качества, являющиеся в действительности качествами, присущими прозе. Благородная прозрачность Расина, тонкое изящество Ла Фонтена вечно будут очаровывать Францию. При всем своем мощном лирическом полете, при всем блеске своего слова, Виктор Гюго завоевал удивление Франции, но не приобрел ее уважения, как литератор. И теперь наиболее уважаемыми поэтами Франции являются те, которые обладают качествами, свойственными прозе — Коппе, по ясности и краткости легкости своего стиха, Леконт-де-Лиль, по своему лапидарному величию. Французская поэзия — это александрийские стихи в прозе. Бодлер писал сначала свои поэмы в прозе».

Эти мысли, совпадающие с тем, что в 1867 году пришлось высказать Эсе, повторены были Фрадиком в Париже много лет спустя (см. гл. VII первой части) с еще большей настойчивостью и распространились — в своей отрицательной критике — даже на прозу, которая больше не удовлетворяла строгого судьи. Мысли эти находят живой отклик у Эсы, который за последние годы стал ревностным поклонником английской литературы и отошел от французской, хотя был многим обязан ей в начале своей писательской деятельности. Мирозерцание Фрадика сыграло в развитии нашего автора значительную роль.

Знакомя своих соотечественников с Фрадиком-Мендешем, Эса-де-Кэйрош изображает идеального португальца второй половины XIX века. Фрадик соединяет в себе острый критический ум с ненасытной

жаждою знания и всесторонней образованностью. Нет таких областей науки, искусства, которые были бы ему неведомы. Нет таких уголков земли, где бы он не побывал в своем стремлении познать человечество в самых разнообразных проявлениях его культуры, его религиозной жизни и его быта. Он незаменимый собеседник; переписка с ним радость для его многочисленных друзей. Он обаятелен и прост в обращении. Несмотря на крупное состояние и на близость к высшим кругам парижского общества, он не является прожителем жизни, ненавидит оригинальничание, всегда остается самим собою, никогда не поступает своими взглядами и в то же время, будучи одним из самых доступных людей, он никого не посвящает в интимную жизнь своего сердца. По разнообразию и силе своего дарования, Фрадик-Мендеш действительно противопоставляется современному Эсе мелкобуржуазному португальцу и воскрешает тип итальянца Ренессанса.

В 1891 году, в Португалии, образ такого соотечественника должен был, конечно, действовать на воображении своею новизной. За истекшие 30 лет западная литература создала других идеальных европейцев, заслонивших собою Фрадика, мало кому известного за пределами родины Эсы¹⁾. Но для Португалии 1890-х годов это откровение, это новое слово не могло пройти незамеченным. Такие люди, как Эса-де-Кэйрош, обвиняли, и не без основания, в национальных бедствиях и унижении не только бездарность политиков, но и вообще дряблость португальского характера. Умственная лень, сказывающаяся во всех областях деятельности, отсутствие энергии, удовлетворенность самыми мелочными интересами, — то-есть свойства, чуждые в полной мере Фрадику, — вот что привело к упадку Португалии. Воодушевить соотечественников новым, живым примером хотелось Эсе, когда он предавал гласности переписку своего покойного друга.

Особенности характера, ума, образа жизни Фрадика-Мендеша были всегда дороги Эсе, как писателю. Фрадик приближается к некоторым героям нашего романиста. Он — олицетворение идеала кипучей и содержательной жизни. К воплощению этого идеала в создаваемых им героях стремился Эса в ряде своих повестей и романов.

Фрадик-Мендеш — порождение цивилизации XIX века. Хотя он нередко бичует эту цивилизацию и удаляется в «пустыню», чтобы стряхнуть с себя то, что он называет «сором», он не мог бы жить долгое время вдали от Парижа, с которым связан всеми своими привычками. И по временам у Эсы проскальзывает ироническое отношение к Фрадику. Описывая его день, Эса говорит: «Он посвящал остаток дня друзьям, визитам, художественным ателье, фехтовальным залам, выставкам, клубам, всем тем разнообразным занятиям, которые создает себе человек хорошего вкуса, живущий в высокоцивилизованном городе».

Эта высшая цивилизация, гипертрофия цивилизации, способная увлечь Эсу, не удовлетворяла его в полной мере. В одной из своих ранних повестей, носящей именно такое название «Civilisação», переделанной впоследствии в большой роман «Город и Горы», он про-

¹⁾ См. о португальском романтизме упомянутую нашу статью в I томе Собрания сочинений Эсы.

¹⁾ Если мы не ошибаемся, «Переписка Фрадика-Мендеша» впервые появляется в переводе на иностранный язык в нашем издании.

тивополагает ей бесхитростную жизнь в деревне, где душа человека развивается свободная от всех пут, которые на нее налагают светские условности¹⁾.

Воспитанный в восхищении перед «цивилизацией», окруженный ее новейшими достижениями и завоеваниями, герой обоих произведений Жасинто попадает случайно в затерявшееся среди гор Португалии поместье и здесь, в сельской глуши, обретает настоящую жизнь, наполненную истинным содержанием и подлинными интересами, отбрасывает ту фальшь, которая искажала его существование, как и существование героев других романов Эсы, «Знатного рода Рамиренш», «Реликвии». Этим увенчанием жизни в благословенных горах Португалии Эса косвенно осудил привычки и вкусы своего идеального друга Фрадика-Мендеша; не подлежит сомнению, что между ним и Жасинто немало общего подобно тому, как взаимоотношения Эсы и Фрадика напоминают нам роль того Зэ Фернандета, от чьего имени ведется рассказ «Город и Горы». Зэ Фернандет только собеседник, наперсник, гость и почитатель своего блестящего друга Жасинто. Себя он изображает в ряде комических положений, анализируя свои поступки с той же тонкой и беспощадной иронией, с какой Эса выставляет на показ увлечения и оплошности своей молодости в первых главах «Переписки». В романе «Город и Горы» Эса, повидимому, нашел истинное назначение для своего героя, который включил в себя черты Фрадика. Он должен был очиститься от «мусора цивилизации», чтобы обрести покой в единении с португальской природой. Цивилизованный человек, будь то Жасинто или даже Фрадик, дает пищу его иронии; человек, нашедший удовлетворение в простой, здоровой жизни, чуждой лицемерия и изломанности, становится его излюбленным героем. И вот именно это общение человека с природой внушает Эсе глубоко-прочувствованные слова молитвы о «мире духовном для... всех людей, для полей и уснувших деревень, и для прекрасной португальской земли, милой, благодатной, которая благословенна да будет среди всех земель». («Знатный род Рамиренш».)

Такое же перерождение, в котором чувствовал потребность сам Фрадик, забравшийся подальше от цивилизации и литературы в африканские или патагонские дебри, переживает Гонсало, герой «Знатного рода Рамиренш», порывающий с фальшью своей прежней, полной компромиссов жизни и уезжающий в колонию. Такое же перерождение необходимо было герою «Семейства Майа», Карлошу-Эдуардо, отчасти напоминающему нам Фрадика, только Фрадика — неудачника. Но, конечно, ближе всего к Фрадику Жасинто, успевший найти на земле то, что ускользнуло от первого, так как из «Переписки» видно, что богатая впечатлениями и переживаниями жизнь Фрадика не дала ему полного удовлетворения.

Мы могли бы сблизить печатаемую ниже «Переписку Фрадика-Мендеша» с другими произведениями Эсы-де-Кэйрош в отношении различных деталей. Некоторые мелкие черточки появляются и здесь и

¹⁾ См. вступительную статью к тому I Собрания сочинений Эсы; в том же томе дается перевод «Цивилизации». «Город и Горы» выходит отдельным томом.

там. Подробное объяснение этого любопытного совпадения дается нами в общей вводной статье к первому тому.

Советник Акасио из «Кузена Базилио» упоминает в письме VIII о талантливом Пашеко. Командор Пиньо (письмо IX), как и Акасио, желает для себя простую надгробную надпись «Молитесь за него» с его именем.

Описание сельской жизни в Рефалдеш (письмо XII) приводит на память приезд Жасинто в Торжеш (ср. описание кухни). О монастырском саде, вроде того, который рисуется в том же письме, мечтает Эса в «Странностях белокурой девушки»¹⁾.

«Quo te carmine dicam, Rhetica?» из Вергилия, которое цитирует Фрадик в письме X, встречается в «Цивилизации» и «Городе и Горах».

Не будем останавливаться дольше на этих совпадениях. Они доказывают лишь то, что вытекает из более глубокого анализа творчества Эсы: он постоянно возвращался к высказанным им мыслям, к облюбленным им образам, чтобы, видоизменив их, использовать в новом произведении, которое лучше, чем предыдущее, выражало бы идеал, манивший к себе португальского романиста.

Г. Лозинский.

¹⁾ Том I Собрания сочинений.

ПЕРЕПИСКА ФРАДИКА МЕНДЕША.

I

Моя дружба с Фрадиком-Мендешем началась в Париже на пасхальной неделе 1880 года, когда он только что возвратился из путешествия по Южной Африке. Но познакомился я с этим удивительным человеком еще в Лисабоне, очень давно, в 1867 году. Летом этого года, сидя как-то вечером в кафе Мартино, я прочел в помнятом номере Сентябрьской Революции¹⁾ имя К. Фрадика-Мендеша, стоявшее громадными буквами под стихами, которые привели меня в восторг.

Темы — или «эмоциональные мотивы», как мы выражались в 1867 году — этих пяти или шести поэм, напечатанных в виде фельетона под заглавием «Lapidarias»²⁾, произвели на меня чарующее впечатление долгожданной оригинальности. Это было время, когда я и мои товарищи из «Сенакля»³⁾, ослепленные эпическим лиризмом Легенды Веков, «книгой, занесенной к нам порывом ветра с Гернзи» — решили предать хуле и поношению интимный лиризм, который приютился в уголке человеческого сердца, изо всех звуков Вселенной различал только шуршание юбок Эльвиры и превратил Поэзию, особенно в Португалии, в однообразную и бесконечную

¹⁾ «Сентябрьская Революция» — заглавие газеты, основанной в Лисабоне партией «Сентябристов», сторонников государственного переворота, состоявшегося в сентябре 1836 года и приведшего к восстановлению радикальной конституции 1822 года. В 1842 году снова была введена более умеренная хартия 1826 г.

²⁾ «Надписи на камне».

³⁾ Друзья Эсы-де-Кэйрош образовали в Лисабоне кружок, которому, по образцу клуба французских романтиков, дали имя *Senáculo*. (См. вступительную статью к тому I Собрания сочинений Эсы, глава 2-ая.)

исповедь о восторгах и муках любви. А Фрадик-Мендеш, повидимому, принадлежал к числу молодых поэтов, которые следовали за несравненным учителем Легенды Веков, и, охваченные любовью ко всему существующему, искали эмоциональные мотивы за узкими пределами сердечных трепетаний — в Истории, в Легенде, в обычаях, верованиях, во всем том, что на протяжении веков различно, и в то же время единообразно, раскрывает и определяет сущность человека. Но рядом с этим в Фрадики-Мендеше была заметна и другая, понравившаяся мне поэтическая струйка: он останавливался на темах современности, тонко и тщательно отмечал прелести и ужасы Жизни, повседневной, окружающей нас жизни, какой мы видим или ощущаем ее на улицах, по которым ходим, в соседних домах, в смиренной доле людей, что смиренно скользят мимо нас в полумраке.

В маленьких поэмах «Lapidarias», действительно, развертывались великолепные в своей новизне темы. Вот аллегорический святой, отшельник VI века, умирает вечером, в снегах Силезии, не выдержав неожиданного и зверского возмущения плоти; на пороге вечного блаженства, он вдруг лишается и его и божественных, с трудом добытых плодов пятидесяти лет покаянной жизни в пустыне. Здесь словоохотливый и переживший все сроки жизни вóрон, рассказывал о делах того давно минувшего времени, когда он с веселой стаей следовал за легионами Цезаря по равнинам Галлии, затем за ордами Алариха, стремительным потоком спускавшимся в Италию, белую, мраморную, на фоне лазури. Славный рыцарь Персеваль, зеркало и цвет идеалистов, в течение веков странствовал по свету, оставляя в городах и на полях молчаливый след своих золотых доспехов, в поисках Святого Граля, мистического сосуда, наполненного кровью Христовой, который сверкнул перед его взором в облаках над башней Камерлонского замка. Сатана германской складки, начитанный в Спинозе и Лейбнице, в переулке средне-векового города пел проникновенную серенаду звездам, «каплям света, застывшим в холодном воздухе...» И из этих проникнутых великолепным символизмом мотивов выделялась картинка простой,

обыденной жизни, «Старушки», — пять старушек с пёстрыми шальями на плечах, с платком или корзинкой в руках, молча сидят на каменной скамейке, погруженные в грустные воспоминания, и на них падает косой луч осеннего солнца.

Я не поручусь за точность этих прекрасных воспоминаний. После того августовского вечера, когда я обнаружил «Lapidarias» в кафе Мартиньо, они не попадались мне больше под руку. И главное, что меня пленило в них, была не идея, а форма, величавая в своей пластической красоте и жизненности; она напоминала мраморный стих Леконта-де-Лилль, но в жилах мрамора текла более горячая кровь, и в то же время в ней чувствовалась напряженная нервность Бодлера, но с большей ритмичностью, и более определенной каденцией. А как раз в 1867 году мы с Ж. Тэйшэйрой-д'Азеведо и другими товарищами открыли на небе французской поэзии (это было единственное небо, к которому поднимались наши взоры) целую плеяду новых звезд, и среди них выделялись по своему особенному и исключительно яркому блеску эти два солнца — Бодлер и Леконт-де-Лилль. Виктор Гюго, которого мы уже называли «папашей Гюго» или «Гюго господом всемогущим», не был для нас светилом, но самим богом, изначальным и имманентным, дарующим свет, движение и ритм звездам. У его ног Леконт-де-Лилль и Бодлер образовывали два созвездия, сверкавшие удивительным сиянием; и это открытие ослепило нас, пленило, как любовь! Позитивная и ограниченная молодежь наших дней, которая занимается политикой, изучает биржевой курс и читает Жоржа Онэ, едва ли поймет, с каким священным энтузиазмом мы принимали посвящение в это новое искусство, в первые годы Второй Империи поднявшееся во Франции на развалинах Романтизма, как его последнее воплощение, и в поэзии выражавшееся в стихах Леконта-де-Лилль, Бодлера, Коппэ, Дьеркса, Малларме и других не столь видных поэтов. И это увлечение, может быть, еще менее понятно той части образованной молодежи, которая уже на школьной скамье питается Спенсером и Теном и старается внести свою добросовестную и прони-

2. Кайрош, Фрадик Мендеш.



цательную критику туда, где в былое время мы, более непосредственные и пламенные, предавались только волнению. И я сам улыбаюсь теперь при воспоминании о том времени, когда в комнате Ж. Тэйшэйры-д'Азеведо, весь бледный и дрожа от волнения, я начинал среди ночи громогласно декламировать Charogne¹⁾ Бодлера, тем самым повергая в ужас и смущение двух каноников, живших рядом.

Et pourtant vous serez semblable à sette ordure,
A sette horrible infection,
Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous mon ange et ma passion!²⁾

За перегородкой слышно было, как скрипят постели священников, в тревоге чиркающих спичками. А я, еще более бледный, в экстазе, весь дрожа:

Alors, oh ma beauté, dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,
Que j'ai gardé la forme et l'essence divine
De mes amours décomposés!³⁾

Конечно, Бодлер не стоил этой дрожи и этой бледности. И тем не менее, всякий искренний культ обладает какой-то внутренней красотой, не зависящей от заслуг того бога, которому он воздается. Две сложенные в правдивой вере руки будут всегда производить на нас трогательное впечатление, даже когда они простираются к такому аффектированному и неестественному святому, как святой Симеон Столпник. Наши восторги, рожден-

¹⁾ «Падашь».

²⁾ «И все ж на эту грязь, на этот плен презренный,
Увы, похожа будешь ты, —
Звезда моих очей, мой светоч несравненный,
Лучистый дух моей мечты».

Пер. В. П. Коломийцова.

³⁾ «Тогда, о, красота, скажи семье противной
Свой корм целующих червей,
Что свято я в душе храню прообраз дивный
Любви сгнивающей моей».

Пер. В. П. Коломийцова.

ные из удовлетворенного Идеала, были чисты, и сравнить их можно только с восторгом испанских мореплавателей, вступавших на землю, по которой раньше никто не ступал, в сказочное Эльдorado, богатое навлаждениями и сокровищами, где блестящие прибрежные камешки казались им алмазами.

Где-то я читал, что Хуан Понсе де-Леон¹⁾, утомленный видом серых равнин Старой Кастилии, и не находя прежнего очарования в темно-зеленых плодовых садах Андалузии, пустился по морю искать иные земли и mirar algo nuevo²⁾. Три года бороздил он без цели меланхолические воды Атлантики; месяцами блуждал, затерянный в туманах Бермудских островов; надежда иссякла, и потрепанные корабли уже обратились туда, где оставалась Иснания. И вот однажды, в яркое солнечное утро, в Иванов день, перед обаятой восторгом эскадрой предстает всё великолепие Флориды! «Gracias te sean, dadas mi S. Juan bendito, que he mirado algo nuevo!»³⁾ Слезы текли у него по седой бороде, и Хуан Понсе де-Леон умер от волнения. Мы не умерли: но такие же слезы, как у старого мореплавателя, брызнули у меня из глаз, когда я впервые проник в мрачный полусвет и острые запахи Цветов Зла. Как нелепы мы были в 1867 году!

По правде сказать, точь в точь как Понсе де-Леон, я искал в литературе и Поэзии только algo nuevo que mirar⁴⁾. А чем могло быть это algo nuevo⁵⁾ для двадцатилетнего южанина, влюбленного прежде всего в Краски и Звуки во всей полноте их богатства, как не новая роскошь новых форм? Только Форма, невиданная и редкостная красота Формы, интересовала меня в это время

¹⁾ Хуан Понсе де-Леон — испанский мореплаватель, принимавший участие в завоевании островов Сан-Доминго и Пуэрто-Рико и в 1512 году открывший Флориду. В своем рассказе Эса-де-Кайрош допускает неточность, так как Х. Понсе де-Леон умер только несколько лет спустя на острове Кубе.

²⁾ «Повидать что-нибудь новое».

³⁾ «Благодарение тебе, благословенный святой Иоанн, за то, что я повидал что-то новое!»

⁴⁾ «Что-нибудь новое для наблюдения».

⁵⁾ «Что-нибудь новое».

тонкой чувствительности и владела всеми моими помыслами! Конечно, я обожал Идею в ее сущности; — но насколько больше я обожал Слово, в котором она воплощалась! Бодлер, показывающий своей возлюбленной гниющий остов собаки в Chagogne и сравнивающий бренность плоти обоих, был для меня великолепной, волшебной неожиданностью; и какую ценность мог представлять перед этим сложным и мучительным разложением чувства на его составные части легкий и старый Ламартин, указывающий Эльвире на усталую луну и сопоставляющий их бледность и нежную грацию? Но если бы этот жёсткий и погребальный спиритуализм Бодлера был выражен вялым и мягким языком Казимира Делавиня, я не подарил бы его большим вниманием, чем жалкие стихи из Альманаха Воспоминаний.

И вот, отдавшись всеми своими чувствами этому поклонению Форме, я познакомился с «Lapidarias» Фрадика-Мендеша; мне показалось, что в них об'единились и слились противоречивые качества, торжественность и нервность, составлявшие (по крайней мере, таково было мое мнение) величие моих двух кумиров — автора Цветов Зла и автора Варварских поэм. К этому присоединилось новое очарование: это то, что поэт был португальцем и своим драгоценным резцом украшал тот язык, признанными жемчужинами которого до тех пор были Обручение в Могиле и Ave Caesar!¹⁾ что он жил в Лисабоне, принадлежал к числу Молодых и, конечно, в душе своей, а может быть и в жизни, таил столько же оригинальности, сколько и в своих поэмах! И таким образом памятный фельтон Сентябрьской Революции приобретал смысл художественного откровения, становился поэтической зарею, рождающейся для того, чтобы юные души могли окунуться в то тепло и тот особенный свет, о которых они мечтали, погруженные в полусон, почти что оконечив под холодной луной Романтизма. Благодарение

¹⁾ «Обручение в могиле» («O Noivada do Sepulcro») — баллада поэта-романтика Антонио-Аугусто Суареша-де-Пассош (1826—1860). — «Ave, Caesar» — стихотворение другого португальского романтика Жозе да-Сильва-Мендеша-Леала (1818—1886), посвященное памяти сардинского короля Карла-Альберта.

тебе, благословенный Фрадик, за то, что в своем старом языке я he mirado algo nuevo!¹⁾ Мне помнится, что я пробормотал эти слова, весь охваченный чувством признательности. И забрав с собой номер Сентябрьской Революции, я побегал к Ж. Тэйшэйре-д'Азеведо на переулок Гуарда-Мор об'явить ему о рождении чуда!

Я застал его без пиджака в той позе, в какой он любил отдыхать в спокойные летние вечера, перед бокалом с вином из Торреша, в котором плавала земляника. Потрясая рукой, я оглушительным голосом продекламировал Смерть Святого. Если память мне не изменяет, вероломная природа жалчайшим образом предала этого аскета, умиравшего в снегах Силезии! Все страстные влечения плоти, усердно подавлявшиеся в течение пятидесяти лет отшельнической жизни, вырывались вдруг наружу, на пороге вечного блаженства, зверским потоком, не желая умереть навсегда с умирающей плотью, прежде чем хоть один раз найдут удовлетворение! И на месте святого, ангелы с пальмовыми ветвями в руках, спускавшиеся среди песнопений на безмятежных крыльях, чтобы принять его в свои об'ятия, находили сатира, старого, омерзительного сатира, который ползал по земле, отвратительно рыча, жадными устами льнул к снегу, к мягкому белому снегу, воображая в своем диком бреде, что он прикасается к обнаженным гетерам!.. Все это было описано с величественной простотою и резкостью, которые казались мне божественными. Ж. Тэйшэйра-д'Азеведо тоже нашел это «божественным, но бесстыдным». И он согласился со мной, что необходимо вывести Фрадика-Мендеша на свет божий из мрака, и поднять его на щит, как блестящего вождя Молодежи.

В тот же вечер я отправился в Сентябрьскую Революцию отыскивать своего университетского товарища по Коимбре, Маркоша Видигала, который в веселые годы занятий римским и церковным правом приобрел большой авторитет в вопросах классической музыки благодаря тому, что играл на аккордеоне, прочел Историю Музыки

¹⁾ «Я взглянул на что-то новое».

Скудо и пустил в университетский оборот имена Моцарта и Бетховена. Теперь же, бездельничая в Лисабоне, он писал по воскресеньям в Революции «Музыкальную хронику», чтобы пользоваться бесплатным билетом в Сан-Карлош¹⁾.

Это был молодой человек с редкими прядями волос цвета сливочного масла, весь в веснушках, недалекий и уравновешенный; но он расцветал и преображался, как только на его долю выпадал счастливый «случай потеряться (как он выражался) о знаменитого человека, или закусить чем-нибудь оригинальным»; и мало-по-малу он благодаря этому сам приобрел репутацию почти что оригинального человека и стал чем-то вроде знаменитости. В тот вечер (это было в субботу, и стояла удручающая жара) он сидел за столом в легком пиджачке, и, обливаясь потом и тяжело дыша, выжимал капля за каплей из своего бедного мозга, как из подсохшего лимона, хроникерскую заметку о Вольпини. Не успев произнести имя Фрадика-Мендеша и упомянуть о приведших меня в восторг стихотворениях, как Видигал отбросил в сторону перо, и его мягкое лицо озарилось радостной улыбкой.

— Фрадик? Знаю ли я великого Фрадика? Да он мой родственник! До он мой земляк! Да мы с ним компаньоны!

Чудесно, Видигал, чудесно!

Мы отправились в Городской Сад (где у Маркоша было назначено свидание с биржевым дельцом). Усевшись в тени акаций, мы потребовали шербета. И от хроникера Революции я услышал повесть о происхождении, молодости и деяниях поэта «Lapidarias».

Карлош Фрадик-Мендеш происходил из старинной, богатой семьи с Асорских островов; он был потомком, по мужской линии, мореплавателя дон Лопо Мендеша, младшего сына фамилии Троба, одного из первых Ка-

¹⁾ Оперный театр в Лисабоне.

питанов¹⁾, назначенных на острова в начале 16-го века. Его отец, удивительно красивый, но необузданный в своих влечениях человек, погиб на охоте, когда Карлош еще ползал на четвереньках. Шесть лет спустя умерла его мать, такая изящная, задумчивая и белокурая, что какой-то поэт с Терсейры²⁾ прозвал ее Девой Оссиана; она схватила лихорадку после поэтической прогулки с песнями, когда в самую жару отправилась за город косить сено. Карлош остался в обществе и на попечении своей бабушки со стороны матери, старой чудачки, доны Анжелины Фрадик; эта легкомысленная и ученая женщина собирала птичьи чучела, переводила Клопштока и постоянно страдала от «стрел Амура». Его первоначальное воспитание было поразительно сумбурным: капеллан доны Анжелины, старый монах-бенедиктинец, научил его латыни, христианской догме, внушил ему ужас к масонству и преподал ряд других твердых принципов; вслед затем французский полковник, непримиримый якобинец, который в 1830 году дрался на баррикадах Сен-Мерри, опрокинул эти духовные основы, давая переводить мальчику «Девственницу» Вольтера и Декларацию прав человека и гражданина; и, наконец, немец, помогавший доне Анжелине наряжать Клопштока в португальский костюм Филинта Элизия³⁾ и выдававший себя за родственника Иммануила Канта, довершил всю эту путаницу, посвятив Карлоша, у которого еще не начали пробиваться усики, в тайны Критики Чистого Разума и в метафизические ереси тюбингенских профессоров. К счастью, Карлош уже тогда целые дни проводил за городом верхом, со своей сворой гончих собак; и от малокровия, которое в нем неизбежно должны были вызвать отвлеченные умствования, его

¹⁾ Капитан — в данном случае должностное лицо вроде заместителя. Асорские острова были открыты португальцами в 1429 году, но колонизация их началась несколько позже.

²⁾ Терсейра — один из островов Асорского архипелага.

³⁾ Филинто Элизю — поэтический псевдоним аркадца Франшишко-Мануэла до-Нашсименто (1734—1819), переведшего на португальский язык ряд классических произведений с латинского, французского и немецкого языков.

спасли свежий воздух дубовых рощ и естественная чистота ручьев, откуда он пил.

Бабушка, с полным беспристрастием одобрявшая все эти спутанные принципы воспитания, вдруг решила, как только Карлошу минуло шестнадцать лет, отправить его в Коимбру, которую она считала благородным средоточием классических штудий и последним убежищем гуманитарных наук. Впрочем, по острову ходил упорный слух, что не взирая на свои шестьдесят лет, покрывшие ее лицо более густым пушком, чем плющ покрывает развалины, переводчица Клопштока вздумала удалить внука, чтобы выйти замуж за своего кучера.

В продолжение трех лет Карлош играл на гитаре на Скале Воспоминаний¹⁾, упивался скверным вином в кабачке теток Камела²⁾, печатал в Идее аскетические сонеты и был безнадежно влюблен в дочь кузнеца из Лорвана³⁾. Он только-что провалился на экзамене по геометрии, когда бабушка внезапно умерла в своей вилле Торнаш, в розовой беседке, где она в приятном забытии проводила июньской день, попивая кофе и слушая, как кучер перебирает струны гитары пальцами, которые были скрыты под бесчисленными перстнями.

У Карлоша оставался в живых дядя, Тадеу Мендеш, любитель роскоши и хорошей кухни, живший в Париже и занятый подготовкой спасения человечества вместе с Персиньи, Морни и принцем Людовиком-Наполеоном, которого он высоко чтит и ссужал деньгами. И Карлош переехал в Париж изучать юриспруденцию в пивных, окружающих Сорбонну, в ожидании совершеннолетия, которое должно было дать ему в руки наследство после отца и бабушки, составлявшее по исчислению Видигала добрый миллион крузадо⁴⁾. Видигал, сын племянницы доны Анжелины получил совместно с Карлошом, в виде отказа по завещанию, загородную виллу, под названием Корвовело. Поэтому-то он и выдавал себя

¹⁾ Холм вблизи Коимбры.

²⁾ Известный студенческий трактирчик в Коимбре.

³⁾ Бывшее аббатство в окрестностях Коимбры.

⁴⁾ Крузадо — монета в 480 рейс, то-есть около рубля.

за «родственника, земляка и компаньона» автора «Lapidarios».

Видигал знал только, что вслед за тем свободный и богатый Фрадик покинул Латинский квартал и начал пышную и пламенную жизнь. Как выпущенная на волю птица, он устремился путешествовать по всему свету, во всех направлениях, от Чикаго до Иерусалима, от Исландии до Сахары. Во время этих странствований, на которые его толкали то запросы ума, то жажда новых ощущений, он оказался замешанным в исторических событиях и познакомился с выдающимися представителями века. В красной блузе он сопровождал Гарибальди, отправившегося завоевывать Королевство Обеих Сицилий. Состоя при штабе старика Назира, который называл его the Portuguese Lion (португальским львом), он проделал всю абиссинскую кампанию. Получал письма от Мадзини. Только несколько месяцев назад посетил Гюго на утесе Гернзи...

При этих словах я попятился назад и вытаращил глаза! Виктор Гюго — это еще у всех на памяти — в своем изгнании на Гернзи вырастал для нас, идеалистов и демократов 1867 года, до величественных и легендарных размеров святого Иоанна на острове Патмосе. Я возмущенно попятился назад и вытаращил глаза, до такой степени мне казалось неправдоподобным, чтобы португалец, какой-то Мендеш, мог держать в своих руках царственную руку, написавшую Легенду Веков! Переписка с Мадзини, дружба с Гарибальди, — куда ни шло! Но чтобы он гулял, разговаривал, мечтал на священном острове, под шум вод Ламанша, с провидцем Отверженных, — это показалось мне наглым бахвальством островитянина¹⁾, который желал меня мистифицировать...

— Клянусь! — воскликнул Видигал, поднимая правую руку к акациям, в тени которых мы сидели.

И тут же, чтобы доказать правдоподобие этой величайшей славы Фрадика, он поведал мне о славе еще более великой, окружавшей этого удивительного чело-

¹⁾ То-есть уроженца Асорских островов.

века еще более блестящим ореолом. Речь шла не об уважении знаменитого человека, но о чем-то ни с чем несравнимым, о любви знаменитой женщины. Да! В течение двух лет Фрадик был в Париже избранником сердца Анны де-Леон, великолепной Анны де-Леон, самой образованной и прекрасной куртизанки — Видигал выразился: «самого лакомого кусочка» — Второй Империи, выражением и цветком которой она являлась по исключительной грации своей, отмеченной умом чувственности, как Аспазия в век Перикла!

Мне приходилось много раз читать имя Анны де-Леон в Фигаро, и я знал, что поэты прославляли ее под именем Победоносной Венеры. Конечно, роман с куртизанкой не произвел на меня такого впечатления, как дружба с творцом Созерцаний: но моей недоверчивости был положен конец, и Фрадик принял для меня облик одного из тех существ, которые силой своего обаяния или гения, как Алкивиад или Гете, властвуют над целой культурной эпохой и извлекают из нее все наслаждения и все триумфы.

Поэтому я, может быть, оробел и покраснел, когда Видигал, потребовав еще порцию сливочного шербета, вызвался познакомить меня с удивительным Фрадиком. В нерешительности, вспоминая, что такие же сомнения обуревали Новалиса, поднимавшегося однажды утром по лестнице Гегеля в Берлине, я спросил Видигала, живет ли автор «Lapidarias» в Лисабоне... Нет! Фрадик приехал из Англии, чтобы пробыть некоторое время в обожаемой им Синтре¹⁾, где он купил себе виллу Сарагосу, по дороге в Капуцинский монастырь²⁾, чтобы иметь возможность отдыхать летом в Португалии, как подобает истинному фидалго³⁾. Он жил там с самого дня св. Антония, а теперь остановился в Лисабоне в Hôtel Central, по пути в Париж, свою обычную резиденцию. Не было человека, добавил Маркош, более простого, более весе-

¹⁾ Дачная местность недалеко от Лисабона, с бывшим королевским замком, расположенным на вершине горы. Синтра воспета Байроном в 1-ой песне «Чайльд-Гарольда».

²⁾ Бывший монастырь, расположенный высоко над уровнем моря.

³⁾ Фидалго — португальский дворянин.

лого и приятного в обращении. И если мне угодно познакомиться с гениальным человеком, то я буду ждать на следующий день, в воскресенье, в два часа, после мессы в Лорето, у дверей Аванезы¹⁾.

— Решено! В два часа, с благоговейной точностью, после мессы!

Сердце мое забилося. Наконец, сделав над собою усилие, как Новалис на площадке лестницы Гегеля, я обещал, расплачиваясь за шербет, что на следующий день, в два часа, с благоговейной точностью, но без всякой мессы, я буду ждать у дверей Аванезы!

II.

Я не спал всю ночь, придумывая фразы, глубокомысленные и прекрасные, которыми должен был поразить Фрадика-Мендеша! Они все были направлены на прославление «Lapidarias». И помню, с какой заботливой любовью я выгравировал и отшлифовал следующее изречение: «Форма ваших стихов — божественный мрамор, в котором слышится трепетание человека!»

С утра я тщательно занялся своим туалетом, словно собирался посетить не Фрадика, а Анну де-Леон, с которой на рассвете, во сне, проникнутом чувствительностью и ученостью, я прогуливался по Священной Дороге, ведущей из Афин в Элевзис, обрывая лепестки лилий и беседуя о стихосложении «Lapidarias». В два часа я остановил свою коляску, которую нанял, чтобы политый водою асфальт не загрязнил моих лакированных ботинок, у дверей Аванезы, бледный, надушенный, взволнованный, с огромной розой в петлице. Вот какие мы были в 1867 году!

Маркош Видигал уже дожидался меня, нетерпеливо покусывая кончик сигары. Он вскочил в коляску, и

¹⁾ Лорето — церковь Богоматери Лорето в центре города. Аванеза — табачный магазин и нечто вроде кафе и клуба в Лисабоне.

мы понеслись по площади Лорето, залитой горячим августовским солнцем.

Желая побороть ребяческое волнение, я спросил своего спутника, как только мы выехали на Розмариновую улицу, скоро ли Фрадик собирается выпустить в свет «Lapidarias». Покрывая своим голосом грохот колес, Видигал крикнул:

— Никогда!

И он рассказал мне, что появление этих отрывков в Сентябрьской Революции чуть было не вызвало «умственную размолвку» между ним и Фрадиком. Как-то раз после завтрака в Синтре, пока Фрадик курил персидский чубук, Видигал, на правах своего человека, как земляк и родственник, открыл лежавший на столе портфель из черного бархата, и к своему удивлению обнаружил большие листы бумаги, исписанные стихами, с уже пожелтевшими чернилами. Это были «Lapidarias». Первое, что он прочел, была Серенада Сатаны звездам. Он пришел в восторг и попросил у Фрадика разрешения напечатать в Революции некоторые из этих божественных строф. Двоюродный брат улыбнулся и дал согласие, но при обязательном условии, что они будут подписаны псевдонимом. Каким псевдонимом?.. Фрадик предоставлял выбор воображению Видигала. Но когда в редакции он стал читать корректуру, на память ему приходили только обветшалые и затасканные псевдонимы, как Независимый, Друг Истины, Наблюдатель, — ничего в достаточной мере нового, что могло бы достойным образом стоять под такими новыми поэтическими произведениями. Он сказал самому себе: — «Довольно! В величии нет ничего позорного. Поставлю его настоящее имя!» Но когда Фрадик увидел номер Сентябрьской Революции, он побледнел и ледяным тоном обозвал поступок Видигала «нескромным, буржуазным, достойным филистера!» — И тут Видигал остановился, чтобы спросить у меня значение слова филистер. Я не знал, но жадно ухватился за это выражение, в котором чувствовал желчность. Припоминаю даже, что вечером того же дня в кафе Мартиньо я обозвал филистером почтенного автора Ave Caesar!

Да, думал я. Быть может, подобно канцлеру Бакону и другим людям, величие которых состоит в действии, Фрадик желает скрыть от этого мира, где царит материя и сила, свой утонченный поэтический талант! Или же гнев, который он обнаружил, прочитав свое имя под стихами, какими мог бы гордиться Леконт-де-Лилль, был гневом художника, вечно испытывающего благородное чувство неудовлетворенности и не желающего перед лицом людей признать своим произведение, где он ощущает несовершенство!

Эти гордые и новые для меня взгляды разжигали мой восторг, как масло, подливаемое в огонь. Когда мы остановились у Hôtel Central, я дрожал от робости.

Я почувствовал облегчение, когда портье объявил нам, что синьор Фрадик-Мендеш рано утром нанял коляску в Белен¹⁾. Видигал побледнел от отчаяния:

— Коляску! В Белен!.. Что он там нашел в Белене?

Я пробормотал, заступаясь за искусство, что там находится церковь Иеронимитов. В это мгновение катившийся рысью экипаж, запряженный парой взмылившихся лошадей, остановился на улице. Из экипажа вышел человек, легкий и сильный. Это был Фрадик-Мендеш.

Видигал взволнованно представил меня, как «своего приятеля-поэта». Тот с улыбкой протянул руку, тонкую, белую руку, на которой алел рубин. И затем, похлопывая по плечу кузена Маркоша, он вскрыл письмо, которое ему подал портье.

Я мог вдоволь насмотреться на гравера «Lapidarias», на друга Мадзини, на завоевателя Обеих Сицилий, на возлюбленного Анны де-Леон! Меня прежде всего и немедленно пленила его великолепная коренастая фигура, здоровая и мужественная пропорциональность его крепкого тела, спокойный вид мощной стойкости, с которой, он, казалось, занимал свое место в жизни, так же свободно и так же уверенно, как он ступал по этим плитам пола своими большими лакированными ботин-

¹⁾ Белен (то-есть Вифлеем) — пригород Лисабона со знаменитым монастырем и церковью ордена Иеронимитов, построенными в XVI веке.

ками, блестящими под полотняными гетрами. Лицо, серьезного, орлиного типа, который называется цезарским, но без тех расплывчатых линий и вялой полноты, какими традиция разных школ неизменно наделяет Цезарей на холсте и в гипсе, чтобы придать им величественный облик; это скорее было чистое и тонкое лицо молодого Лукреция, в расцвете славы, погруженного в мечтания о Добродетели и Искусстве. Выбритая против шерсти борода, вероятно, не особенно густая, не оставляла на свежей, молочно-белого цвета коже никаких следов, никакой тени; небольшой курчавый пушок слегка обрамлял его губы, которые по своей влажной алой окраске и тонкому изгибу казались в одинаковой мере высеченными для высшей Иронии и высшей Любви. И вся его утонченность, смешанная с энергией, сосредоточивалась в глазах, маленьких черных глазах, блестящих, как ониксовые бусы, остро-проницательных, быть может, слишком настойчивых, которые сверлили и проникали в собеседника, не встречая сопротивления, как стальной бурав — в мягкое дерево.

На нем был просторный пиджак из темной и мягкой материи, и из той же материи были брюки, спадавшие без единой складки; белый полотняный жилет был застегнут на пуговицы из бледного коралла; и узел черного атласного галстука, над которым резко выделялся высокий, ослепительно-белый отложной воротничек, производил впечатление строгого совершенства, очаровавшего меня уже в его стихах.

Не знаю, признали ли бы его женщины красивым. Мне он показался великолепным мужчиной, властно действовавшим прежде всего, благодаря какому-то изяществу, которое излучалось из всей его мужественной фигуры. Он выглядел поразительно здоровым. Его жизнь, вся в действии, такая сложная и трудная, не оставила на его лице ни одной морщины усталости. Казалось, он вот только что появился в этом темном пиджаке, чисто-выбритый, из живых глубин Природы. И хотя Видигал сообщил мне, что Фрадик отпраздновал свой тридцать третий год в Синтре в Петров день, я ощущал в его теле нежную и ловкую крепость эфеба,

в младенческую пору греческого мира. И только когда он улыбался, или когда смотрел на вас, в нем сразу чувствовались двадцать веков литературной жизни.

Прочитав письмо, Фрадик-Мендеш развел руками, с видом веселого отчаяния и воззвал к милосердию Видигала. Речь, как всегда, шла о таможене, вечном источнике его горестей! Теперь там застрял ящик с египетской мумией...

— С мумией?..

Да, именно, историческая мумия, подлинное и почтенное тело Пентаура, священного писца храма Аммона в Фивах и летописца Рамзеса II-го. Он выписал ее из Парижа, чтобы преподнести даме из английского посольства, леди Росс, с которой подружился в Афинах, и которая в расцвете молодости и счастья собирала погребальные древности Египта и Ассирии... Но несмотря на мудрые усилия, ему все не удавалось вырвать покойного книжника из таможенных складов, где теперь царили смущение и ужас. В тот же вечер, когда Пентаур высадился на берег, запеленутый в своем ящике, напуганная таможня дала знать в полицию. Затем, когда было устранено подозрение в убийстве, возникла новая, непреодолимая трудность: — под какую статью тарифа подвести тело священного писца времен Рамзеса? Он, Фрадик, предложил тот параграф, где говорится о копченых сельдях. И в самом деле, что такое копченая селедка, как не мумия живой селедки, только без повязок и без надписей? Для казны безразлично, были ли вы рыбой или писцом. Перед таможеней лежало тело существа, которое когда-то трепетало, а теперь было высушено путем копчения. Если вы при жизни плавали в стае рыб по волнам Северного моря, или же четыре тысячи лет назад на берегах Нила заносили на свитки молитвы Аммона и комментировали главы о конце дня — какое до этого, в сущности, дело Властям? Это рассуждение казалось ему вполне логичным. Но таможенное начальство продолжало колебаться, почесывая подбородок, созерцая пестрый ящик, в котором было заключено столько премудрости и столько благочестия! И теперь в этом письме любезные Пинтоши-Баштоши

советовали прибегнуть к самому рациональному и самому быстрому способу, — заручиться словечком Министра Финансов, чтобы получить беспошлинно почтенное тело писца Рамзеса. Но кто мог с большим успехом раздобыть это словечко, как не Маркош, опора Регенераторов¹⁾ и их музыкальный хроникер?

Видигал потирал руки, осененный блестящею мыслью. Вот достойная его задача, «изящная штучка» — вырвать у казны мумию «фараоновой важной персоны»! И схватив письмо Пинтошей-Ваштошей, он вскочил в коляску и крикнул кучеру адрес Министра, своего коллеги по Сентябрьской Революции. И таким образом я остался наедине с Фрадиком, который пригласил меня подняться в комнаты и, в ожидании Видигала, выпить «соды с лимоном».

Поднимаясь по лестнице, автор «Lapidarias» пожаловался на убийственный августовский зной. А у меня, в это мгновение беглым взглядом проверявшего перед зеркалом на площадке лестницы, как сидит мое пальто, и не увяла ли моя роза — глупейшим образом вырвался отвратительный ответ:

— Прямо хоть лопни!

И еще звук этих позорных слов не замер в воздухе, как мучительное уныние охватило меня: как мог я так необдуманно допустить это жаргонное выражение из табачной лавчонки, которое, словно жирное пятно, осквернило великого художника «Lapidarias», человека, беседовавшего на берегу моря с Виктором Гюго!.. Я вошел в комнату совершенно подавленный, обливаясь потом. И напрасно я делал отчаянные усилия подыскать другую фразу по поводу жары, хорошо построенную, искрящуюся остроумием, оригинальную! Ничего! В голову мне приходили только сходные гнусности, на навязчивом жаргоне: «Хоть тресни!» «Жарко, как ананас!» «Все сало растает!»... Я пережил в этот момент одну из тех

¹⁾ Регенераторы — политическая партия, образованная на коалиционных началах в 1852 году. В нее вошли «Сентябристы» и «Хартисты». (См. прим. 1 к гл. 1.) В 1877 году левое ее крыло откололось и образовало партию Прогрессистов, а консервативные элементы сохранили название Регенераторов.

жестоких и нелепых нравственных пыток, которые в двадцать лет, когда вступаешь в жизнь и литературу, оставляют в душе глубокий след и никогда не забываются.

К счастью, Фрадик исчез за занавеской алькова. Оставшись один и утирая пот, я подумал, что так, с грубоватой простотой, выражаются глубокие мыслители, и немного успокоился. И смущение сменилось желанием обнаружить в обстановке комнаты какой-нибудь признак выдающейся оригинальности человека, проживавшего в ней. Но я увидел только несколько потертых стульев, обитых темно-синим репсом, люстру под тюлевым чехлом, и столик на высоких золоченых ножках, между двумя окнами, настезь открытыми на реку. Только на мраморной доске столика и среди книг, нагроможденных на старом деревянном столе темного цвета, возвышались великолепные букеты цветов; в одном углу стоял мягкий и просторный диван, помещенный туда несомненно самим Фрадиком, с матрацами и наброшенными на них двумя восточными одеялами кричащих цветов. Кроме того, в комнате блуждал какой-то причудливый аромат, который тоже показался мне восточным, словно запах смирнских роз, смешанный с тонкой струей корицы и майорана.

Фрадик-Мендеш вышел из алькова, одетый в шелковый китайский халат. Халат настоящего мандарина, из зеленого шелка с вышитыми цветами миндального дерева, который поразил и в то же время поверг меня в робость. Я заметил тогда, что волосы его были темно-каштанового цвета, тонкие и слегка вьющиеся на лбу, более белом и гладком, чем нормандские изделия из слоновой кости. И глаза, светившиеся теперь прямодушием, уже не показались мне глубокими и черными, как бусы оникса, а скорее напоминали своим цветом теплый цвет темного гаваннского табака. Он зажег папироску и велел подать «соду с лимоном» удивительному слуге, ослепительно-белокурому, очень степенному, с воткнутой в галстук жемчужной булавкой, в широких клетчатых брюках, зеленых с черным, и с тремя цветками гвоздики в петлице! (Я разобрал, что имя этого великолепного слуги

³ Кайрош, Фрадик Мендеш.

было Смес.) Мое смущение все возрастало. Наконец, Фрадик пробормотал, улыбаясь, тоном искреннего расположения:

— Этот Маркош настоящее сокровище!

Я присоединился к этому отзыву и рассказал, какое долголетнее уважение привязывало меня к Видигалу, начиная с первого курса коимбрского университета, с тех беспутных времен, когда мы вместе играли на аккордеоне и зубрили себенту¹⁾. Тогда Фрадик стал вспоминать Коимбру и весело расспрашивать меня о Педро Пенедо, о Пайше и о разных других профессорах схоластического и тупоумного типа; затем о тетках Камела, об этих очаровательных старушках, которые, пережив распушенные поколения студентов, строго соблюли свою девственность, в награду за что приобрели право провести целую вечность на небе, играя на арфе рядом со святою Цецилией... Трактирчик теток Камела составлял одно из его самых приятных воспоминаний о Коимбре: эти роскошные ужины за семьдесят рейс²⁾, подававшиеся шумной компании в закопченной дымом трубок полутемной комнате, когда у каждого участника на коленях было по тарелке с сардинками, и повсюду слышались устрашающие споры о Метафизике и Искусстве. А какие сардинки! Какое божественное искусство жарить рыбу! Сколько раз он вспоминал потом в Париже веселый смех, иллюзии того времени и лакомые блюда!..

Все это говорилось молодым, искренним, простым тоном, который я мысленно определил, как хрустальный. Фрадик растянулся на диване; я оставался около стола, с томиками Дарвина и отца Мануэла Бернардеша³⁾, на которые осыпались лепестки сожженного зноем букета роз. Тогда моя робость несколько рассеялась и, весь горя желанием обсудить с этим гениальным человеком разные литературные вопросы, и забывая, что,

¹⁾ Себента — «засаленная». Так студенты прозвали литографированные лекции и учебники.

²⁾ 70 рейс — около 15 коп.

³⁾ Мануэл Бернардеш (1644—1710) — проповедник и богослов, считающийся первоклассным португальским стилистом.

как Бэкон, он хотел скрыть свой поэтический талант, или, с неудовлетворенностью художника, никогда не согласился бы признать несовершенное произведение, — я упомянул о «Lapidarias».

Фрадик-Мендеш вынул из рта папироску, чтобы весело рассмеяться, хотя этот смех не вполне вязался с легкой краской, которая выступила у него на лице молочно-белого цвета. Затем он заявил, что появление этих стихов за его подписью было предательством со стороны легкомысленного Видигала. Он не считал достойными подписи эти куски рифмованной прозы, которые пятнадцать лет назад, в возрасте подражаний, скопировал со стихов Леконта-де-Лилль. Это было летом, когда он горел верой и желанием работать, в мансарде у Люксембургского сада, при каждой новой рифме признавая себя гениальным новатором...

Я вступился, весь в огне, утверждая, что после Бодлера ни одно произведение искусства не произвело на меня такого впечатления, как «Lapidarias». И я уже собирался блеснуть своей великолепной фразой, выгравированной прошлой ночью с терпеливым усердием: «Форма ваших стихов — божественный мрамор»... Но Фрадик встал с дивана и устремил на меня свои тонкие, онисовые глаза, со сверлящим любопытством:

— Вижу, — проговорил он, — что вы поклонник шутника «Цветов Зла!»

Я покраснел при ужасном слове шутник. И, очень серьезно, я сознался, что для меня Бодлер царил над современной поэзией, на подобие великого светила, на втором месте после Виктора Гюго. Тогда Фрадик с отеческой улыбкой уверил меня, что скоро я утрачу эту иллюзию! В сущности, Бодлер (с которым он был знаком) не поэт. Поэзия подразумевает волнующее чувство; а Бодлер, человек интеллекта, — только психолог и аналитик, с большим искусством изучающий патологические состояния... «Цветы Зла» содержат критический обзор нравственных пыток, которые Бодлер очень тонко понял, но которых лично никогда не пережил. Его творчество напоминает творчество патолога: его сердце бьется спокойно и ровно в то время, как, сидя за рабочим столом,

он заносит на лист писчей бумаги свои многообразные ученые наблюдения о страшных болезнях сердца. И это даже до такой степени верно, что Бодлер писал Цветы Зла сперва в прозе и, только проверив справедливость результатов своего анализа, подвергал их тщательной стихотворной обработке, со словарем рифм под рукой!.. Впрочем (добавил этот странный человек), во Франции нет поэтов. Истинное выражение ясного французского ума — это проза. Самые тонкие знатоки всегда будут предпочитать тех поэтов, творчество которых характеризуется точностью, прозрачностью и трезвостью, а это — качества, присущие прозе; и популярность поэта зависит от того, в какой степени он обладает талантом прозаика. Буало останется бессмертным классиком, когда никто во Франции не будет помнить о бурном лиризме Гюго...

Он говорил эти чудовищные вещи медленным, проникновенным голосом, отделяя слова с точностью безупречного резца. А я слушал в смятении! Чтобы какой-то Буало, школьный учитель, придворный обжора, оставался на вершинах Французской Поэзии, со своей одой на взятие Намюра, со своей шевелюрой и своей линейкой, тогда как имя поэта «Легенды Веков» исчезнет, как дуновение ветра, — это казалось мне одной из тех изысканно-оригинальных мыслей, которыми любят поражать простодушных, и я мысленно называл это наглостью. У меня имелась тысяча возражений, содержательных и уничтожающих: но не хватало смелости, так как я не сумел бы представить их в ясной геометрической форме поэта «Lapidarias». И это малодушие и усилия, которые я делал, чтобы сдержать выражения восторга перед кумирами моей молодости, сдавливали мне дыхание, наполняли меня болезненным чувством неловкости: и я только мечтал о том, чтобы выбраться из этой комнаты, где среди всех этих заплесневелых классических воззрений, среди всех этих роз в кувшинах и мягкого аромата корицы и майорана — царила атмосфера Серала и Академии.

В то же время мне казалось унижительным, что в этой беседе с другом Мадзини и Гюго я сделал только не-

сколько незначительных замечаний о Педро Пенедо и о дрянном винце тёток Камела. И в честолюбивом стремлении поразить Фрадика критическим резюме и обнаружить свой тонкий литературный вкус, я прибег к фразе, к выгравированной фразе, о форме его стихотворений. Улыбаясь и покручивая усики, я пробормотал: «Во всяком случае, форма ваших стихов — это мрамор»... Вдруг дверь с шумом отворилась, и на пороге появился Видигал:

— Все готово! — воскликнул он. — Покойник спасен!

Министр, любитель поэзии и красноречия, искренне заинтересовался этой мумией, принадлежащей «коллеге», и тут же поклялся, что избавит ее от позора быть оцененной по тарифу соленой рыбы. Его Превосходительство даже прибавил: — «Нет, нет! Мы его пропустим свободно, со всеми почестями, подобающими классике!» И на следующее же утро Пентаур покинет таможню в экипаже!

Фрадик посмеялся над применением слова классик, к священному писцу времен Рамзеса — а Видигал, торжествуя, присел к роялю и с увлечением заиграл из Великой Герцогини. Тогда я вдруг, ни с того ни с сего охваченный меланхолическим сознанием своего ничтожества, протянул руку за шляпой. Фрадик не стал меня удерживать, но два шага, которые он сделал, провожая меня по коридору, его улыбка и его shake-hands¹⁾ были безупречны. Лишь только я очутился на улице, из груди моей вырвался крик: — «Что за педант!»

Да, педант, но совершенно нового типа, не похожий на всех людей, с которыми мне до тех пор приходилось встречаться! И вечером, в переулке Гуарда-Мор (скрыв скандальную апологию Буало, чтобы ничто в нем не показалось несовершенным), я поразил Ж. Тэйшэйру-д'Азеведо идеализированным Фрадиком: все в нем было неотразимо, и идеи, и дар слова, и шелковый халат, и мраморный лик молодого Лукреция, и духи, которыми

¹⁾ Рукопожатие.

он был надушен, и изящество, и начитанность и тонкий вкус!

В Ж. Тэйшэйре-д'Азеведо энтузиазм разжигался медленно и с трудом. Фрадик произвел на него впечатление человека неестественного и ходульного. Но он согласился, что необходимо отправиться изучать «механизм позы, устроенный с такой роскошью»!

Несколько дней спустя мы отправились вдвоем в Hôtel Central, наняв для этой цели коляску. Я одел атласный галстук, и воткнул гардению в петлицу. Ж. Тэйшэйра-д'Азеведо, прозванный «Диогеном XIX века», держал в руках увесистую палку с набалдашником в виде кастета; на нем была брагская¹⁾ шляпа с замасленными полями, грязная заплатанная куртка, которую ему одолжил его слуга, и тяжелые крестьянские деревянные башмаки!.. Все это было тщательно подготовлено, все это стоило денег, вызывало в нем самом чувство отвращения, и имело единственной целью привести в ужас Фрадика и горделиво провозгласить перед этим скептиком и любителем роскоши, от имени демократов и идеалистов, моральное величие заплаты и философскую суровость пятна! Вот какие мы были в 1867 году!

Напрасный труд! Пропала даром моя гардения, пропала даром стоическая неопрятность моего товарища. Синьор Фрадик-Мендеш (так заявил нам портье) отбыл накануне на пароходе, который ушел в Марокко за волами.

III.

Прошло несколько лет. Я много работал, путешествовал. Лучше узнал людей и истинную сущность вещей, утратил слепое преклонение перед формой, и не перечитывал больше Бодлера. Маркош Видигал, через Сентябрьскую Революцию, от музыкальной хроники вознесся до административных высот и управлял Индией в должности Генерального Секретаря, пользуясь азиатскими

¹⁾ Брага — город на севере Португалии.

досугами, которые предоставляло ему Государство, чтобы снова отдаться Истории Музыки и аккордеону; и когда я лишился таким образом милого друга, перенесенного с берегов Тэжо на берега Мандови¹⁾, мне не от кого было услышать что-нибудь новое про автора «Lapidarias». Но воспоминание об этом удивительном человеке не изгладилось во мне. Напротив, мне иногда случалось вдруг увидеть, увидеть ясно, осязательно-живо свежее лицо цвета слоновой кости, настойчивые, сверлящие глаза табачного цвета, губы, изогнутые в скептическую улыбку, за которой чувствовалось двадцать веков литературной жизни.

В 1871 году я путешествовал по Египту. Как-то раз я плыл по Нилу, затопившему берега Мемфиса, или того места, которое когда-то было Мемфисом, пересекая пальмовые рощи, возвышавшиеся над водою и создававшие иллюзию печально-торжественного уединения длинных монастырских галлерей на сверкающем фоне восточной лунной ночи. Все кругом было безлюдно, царил глубокое молчание мертвой земли, нарушаемое нежной каденцией вёсел и жалобной песней лодочника... И вдруг я увидел (хотя никакое воспоминание не вызывало во мне этого образа), отчетливо увидел, как рядом с лодкой, разрезая вместе с нею полосы света и тени, движется комната Hôtel Central с большим диваном кричащих цветов; а на диване, в своем шелковом халате, окутанный дымом папироски, Фрадик провозглашал бессмертие Буало! И я сам уже был не на Востоке, не в Мемфисе, и не плыл по неподвижным водам Нила; нет, я находился там же, среди голубого репса, под люстрой в тюлевом чехле, перед окнами, раскрытыми на Тэжо, и слышал, как внизу телеги с железом катятся по направлению к Арсеналу. Но я больше не испытывал прежней гнетущей робости. И пока мы таким образом плыли на веслах среди этой декорации фараонова царства к жилищу шейха Абу-Каира, я спорил с поэтом «Lapidarias» и высказывал, наконец, в защиту Гюго и Бодлера, те тонкие и поразительные мысли, которыми должен был

¹⁾ Мандови — река в Португальской Индии.

заставить его замолчать в памятный августовский вечер! Араб-лодочник перечислял сады Дамаска. А я мысленно восклицал: «Но обратите внимание в Отверженных на высокую нравственную проповедь...»

На следующий день, в праздник Байрама, я вернулся в Каир в самый знойный час, когда муеззины поют свою третью молитву. И кого я должен был встретить в садах Эзбекие, слезая со своего осла, перед отелем Шеперд? Кто это лежал на длинной плетёной кушетке, скрестив руки за затылком, и, опустив на колени номер Times'a, наслаждался теплом и светом? Кто другой, как не Фрадик-Мендеш?

Я быстро взобрался по ступенькам террасы и громко произнес имя Фрадика, смеясь от удовольствия, которое не в силах был скрыть. Не нарушая своего блаженного отдыха, он извлек из-под головы одну руку и, не спеша, протянул мне ее. Все очарование его приветствия заключалось в той легкости, с какой он узнал меня, несмотря на мои синие очки и на целомудренную панаму:

— Ну, как Вам жилось после Hôtel Central?.. Вы давно в Каире? — Он произнес еще несколько слов, неторопливым и любезным тоном. Присев рядом с ним на скамейке, я улыбался во весь рот, стирая пыль, которая толстым слоем покрывала мое лицо, на подобие маски. За те несколько мгновений, что мы провели вместе в приятной беседе, я узнал, что Фрадик неделю тому назад приехал из Суэца, возвращаясь с берегов Евфрата и из Персии, где он проблуждал год и день, как герой сказок; что у негс имелся дебарие¹⁾, под красивым именем Речная Роза; экипаж уже был набран, и лодка ожидала его у Булакской набережной; и он собирался подняться по Нилу до Верхнего Египта, до Нубии, и даже дальше Ибсамбула...

Весь зной Красного моря и равнин Евфрата не опалил его лица молочно-белого цвета. Как и в Hôtel Central, на нем был длинный темный пиджак и белый жилет, застегнутый на коралловые пуговицы. И узел черного

¹⁾ Дебарие — точнее: Дехабие, род баркаса.

атласного галстука отражал в этой стране просторных и ярких одежд точный формализм западного мировоззрения.

Он задал мне несколько вопросов о ленивом Лисабоне, о Видигале, насаждавшем бюрократизм среди брахманских пальмовых рощ... Затем, видя, что я продолжаю утирать пот и пыль, посоветовал мне сходить в турецкую баню, рядом с мечетью Эль-Майед, и отдыхать до вечера, чтобы затем пойти с ним вместе посмотреть на иллюминацию по случаю Байрама.

Но вместо того, чтобы отдохнуть, я попробовал, после очистительной ванны, отправиться за Каир к гробницам Халифов, на семенившем тихой рысцей ослике, по жгучей пыли ливийской пустыни. Когда вечером я занял свое место в ресторане отеля Шеперд перед своим супом «ох-tail», я почувствовал себя таким усталым, что из души моей исчезло всякое желание восхищаться другими мусульманскими диковинами. Больше всего меня соблазняла прохладная постель в обитой дерматином комнате, куда доносилось романтическое пение фонтанов среди розовых кустов сада.

Фрадик-Мендеш уже обедал за столиком, на котором между свечами пылала громадная кактусовая ветка. Рядом с ним на мавританской скамеечке сидела дама в белом; я видел только великолепную массу ее светлых волос и спину, безупречно изящную, как спина статуи Праксителя, затянута в корсет от Мадам Марсель; напротив неё, в кресле, развалился человек мягкотелый и полный; его широкое лицо, обрамленное курчавой бородой и исполненное спокойной силы, как лицо Юпитера, я уже несомненно где-то встречал, либо в живом человеке, либо высеченное в мраморе. Я стал припоминать. На какой улице, или в каком музее восхищался я этим олимпийским ликом, в котором только утомленный взор из-под тяжелых век выдавал слабость человеческой плоти?

Я кончил тем, что спросил о нем негра из Сенеха, который подавал макароны. По круглому лицу дикаря, цвета черного дерева, разлилась ослепительно-белая улыбка, и он почтительно промывал с другого конца

стола: — «Cé-le-diéu». . . О небо! Le Dieu! Неужели негр хотел сказать, что этот человек с курчавой бородой был богом! — богом, определенным и известным, проживающим в отеле Шеперд! Значит, я видел на каком-нибудь алтаре, на какой-нибудь благочестивой картине это лицо, которому вечные воздаяния фимиама и молитв придали отпечаток царственного величия? Я повторил свой вопрос, когда Нубиец вернулся, неся на растопыренных ладонях дымящееся блюдо. И снова, ясно отчеканивая каждый слог, Нубиец бросил мне, ответ, который рассеивал всякие недоумения: — «C'est le Dieu!»

Бог! я улыбнулся этому литературному сюжету: бог во фраке, обедающий в отеле Шеперд. И мало-помалу в моем утомленном воображении стало зарождаться какое-то расплывчатое и неясное видение, как дым, клубящийся над полуугасшей жаровней. Я был на Олимпе, с древними богами и с приятелем Фрадика, похожим на Юпитера. Может-быть (мечтал я, медленно извлекая из салатника ломтики помидоров), боги не умерли; и после появления в Греции апостола Павла, укрылись в какой-нибудь долине Лаконии и снова заполняли ниспосланные им новым богом досуги своими исконными занятиями: земледелием и скотоводством. Только, либо в силу божественной привычки вечно подражать людям, либо оберегая себя от оскорблений со стороны стыдливого христианства, олимпийцы скрывали под юбками и пиджаками блестящую наготу, которой поклонялись древние; и принимая новые человеческие навыки, то по необходимости (с каждым днем всё труднее становится быть богом), то из любопытства (с каждым днем всё забавнее быть человеком), боги постепенно превращались в людей. Иногда они покидали свои нежные пастушеские долины; и с сундуками и саквояжами путешествовали ради развлечения или по делам, перелистывая свои бедеры. Одни из них отправлялись в города, центры цивилизации изучать чудеса книгопечатания, парламентаризма и газового освещения; другие, следуя советам ученого Гермеса, нарушали монотонность длинных аттических летних месяцев, лечась водами в Виши и в Карлсбаде; третьи, наконец, испытывая неизбывную тоску по про-

шлому всемогуществу, шли к развалинам храмов, где некогда им приносили мед и кровь жертвенных животных. И поэтому мне казалось правдоподобным, что этот человек, чье исполненное величия и спокойной силы лицо воспроизводило черты, с которыми Юпитер явился афинской школе, — действительно, Юпитер, Громовержец, Оплодотворяющий, неистощимый отец богов, творец Правил и Порядка. Но что принесло его, одетого в голубой фланелевый костюм, сюда, в Каир, в Отель Шеперд, где он ел макароны, непочтительно пристававшие к божественной бороде, по которой когда-то стекала амброзия? Несомненно, всё то же нежное побуждение, что от начала до конца древнего мира, на земле и на небе, всегда вдохновляло Юпитера, невоздержного поклонника женщин. Что могло привлечь его в Каир, как не какая-нибудь юбка, как не эта великолепная жажда богинь и женщин, над которой некогда задумывались эллинские девушки, заучивая в языческом катехизисе, в какой день он на коленях Леды взмахнул своими крыльями лебедя, потряс бычьи рога в объятиях Европы, пал золотыми каплями на грудь Данаи, поднялся языками пламени до уст Эгины и даже однажды, вызвав чувство отвращения у Минервы и у прочих серьезных олимпийских дам, прошел по всей Македонии с лестницей на плече, чтобы взобраться на высокую террасу чернокудрой Семелы? Теперь он, очевидно, приехал в Каир, подальше от своей пополневшей и строгой супруги Юноны, провести сентиментальные каникулы с этой великолепной женщиной, неотразимый бюст которой был совместным произведением искусства Праксителя и Мадам Марсель. А она, кто такая она? Цвет ее кос, нежный изгиб плеч, все это ясно указывало на одну из восхитительных нимф с Ионических островов, которых когда-то христианские диаконы изгоняли из прохладных ручьев, чтобы там же крестить расслабленных и обремененных долгами центурионов или старых бородатых матрон, истомленных непрестанными паломничествами к алтарям Афродиты. Но ни он, ни она не могли скрыть свое божественное происхождение: сквозь батистовое платье, тело нимфы излучало яркий свет; и если хорошенько взглядеться,

можно было увидеть, как мерно вздымается мраморное чело Юпитера, в спокойном и беспрестанном стремлении создавать Правила и Порядок.

Но Фрадик? Как очутился здесь Фрадик, запросто с бессмертными, попивая с ними шампанское Клик и внимая несказанной гармонии слов Юпитера? Фрадик был одним из последних сохранивших верность Олимпу; он благоговейно простирался ниц перед Формой, и языческая веселость была в нем через край. Он побывал в Лаконии; говорил на языке богов; они вдохновляли его. Что могло быть естественнее, чем обнаружить Юпитера в Каире, и поступить к нему на службу, в качестве чичероне, в варварских землях Аллаха? И, конечно, вместе с ним и с ионийской нимфой Фрадик поднимется на Речной Розе вверх по Нилу до поверженных в прах храмов, около которых Юпитер пробормочет с задумчивым видом, указывая концом зонтика на развалины жертвенников: «Здесь я понюхал много фимиама!»

Вот как, лакомясь салатом из помидоров, я развивал и приводил в порядок эти измышления, намереваясь превратить их в сказку и напечатать в Португальской Газете. Заглавием её должно было быть Последняя Кампания Юпитера. И она давала мне фон, плод фантазии и ученых изысканий, на котором я вывел бы все свои заметки об обычаях и пейзажах, собранные во время моего путешествия по Египту. С той только особенностью, что, желая придать сказке оттенок современности и пикантного реализма, я устроил бы так, что Нимфа вод во время поездки по Нилу влюбится в Фрадика и изменит Юпитеру! И вот, пользуясь всяким уголком в пальмовой роще и всякой тенью от колонн Озириса, она станет вешаться на шею автору «Lapidarias», нашенщивать ему по-гречески слова более нежные, чем стихи Гезиода, оставляя в его фланелевом костюме свой аромат амброзии, словом — вести себя повсюду в этой нильской долине, как отъявленная coquette¹⁾, в то время как отец богов, поглаживая курчавую бороду, будет невозмутимо продолжать в мыслях создавать Порядок, оставаясь всевышним,

¹⁾ Свинья.

величественным, совершенным, богом предков, рогоносцем!

И, воодушевившись, я уже сочинил первую строку сказки: «Это было в Каире, в садах Шубра, после поста Рамадана...» — как вдруг увидел, что Фрадик направляется ко мне, держа в руке чашку кофе. Юпитер тоже поднялся с усталым видом. Он показался мне грузным и мягкотелым богом, с начинающимся ожирением; он медленно волочил ногу, и его внешность делала его вполне достойным того афронта, который я ему готовил для Португальской Газеты. Что касается до нее, то в ней были гармоничность, благоухание, походка, лучистая красота богини!... Она была воистину так божественна, что я тотчас же решил заступить место Фрадика в сказке, стать чичероне и вместе с бессмертными поплыть под парусами или на бечеве по бессмертной реке! Прижавшись щекой к моей щеке, а не к щеке Фрадика, млея от страсти среди священных гранитов Мединет-Абу, она будет шептать самые нежные слова из Антологии! Хотя бы только во сне, я совершу триумфальное путешествие в Фивы. И подписчики Португальской Газеты подумают: «Ах, как он там наслаждался!»

Фрадик подсел ко мне, и Юпитер с Нимфой, проходя мимо, подарили его улыбкой, которая коснулась и меня нежной лаской. Я быстро пододвинул свой стул к поэту «Lapidarias».

— Кто этот человек? Его лицо мне знакомо...

— Конечно, вы видели его на гравюрах... Это Готье!

Готье! Теофиль Готье! Великий Тео! Безупречный мастер стиха! Одно из пламенных увлечений моей молодости! Значит, я не вполне ошибался. Если он и не был олимпийцем — то, по крайней мере, был последним Язычником, сохранившим в эту эпоху отвлеченной и серой интеллектуальности истинную веру в Линии и Краски! И близость Фрадика к автору Mademoiselle Maupin, к старому паладину Эрнани придала в моих глазах еще большую цену этому соотечественнику, который сообщал столько блеска оригинальности нашей потертой родине! Чтобы узнать, предпочитает ли он анизетт или джинджер, я ласково погладил его по ру-

каву. И громко выразил свой восторг перед его пронительностью, когда он раз'яснил мне смысл слов, которые промывчал негр из Сенеха. То, что я принял за благовестие о боге, означало просто — *c'est le deux!* Готье занимал в отеле комнату номер второй. И для этого варвара глава Романтизма и создатель пластических образов был только — номером два!

Я изложил ему тогда свою языческую фантазию, сказку, которую собирался написать, рассказал, какие дни совершенной любви я предназначал ему в его поездке по Нубии. Я попросил даже разрешения посвятить ему Последнюю Кампанию Юпитера. Фрадик, улыбаясь, выразил согласие. Ему очень хотелось бы (сознался он), чтобы это так и было на самом деле, потому что невозможно встретить женщину более неподражаемой красоты, более остро пленительную, чем эта Нимфа вод, по имени Жанна Морлэ, артистка на выходные роли в *Délassements-Comiques*. К несчастью, эта лучезарная женщина была влюблена, как кошка, в некоего Сикара, биржевого маклера, который привез ее в Каир и в настоящее время обедал с какими-то греческими банкирами в садах Шубра...

— Во всяком случае, — добавил этот на редкость оригинальный человек, — я никогда не забуду, дорогой мой соотечественник, вашей очаровательной идеи!

Декарт, подшучивая, кажется, над физикой эникурейской или атомистической, говорит где-то о симпатиях, вызываемых изогнутыми атомами, *Atomes crochus*, имеющими форму крючка или удочки, которые невидимым образом скрепляют два сердца и образуют те упругие, как бронза Самофракии, цепи, что навсегда связывают и сливают воедино два существа с постоянством, торжествующим над Судьбой и переживающим Жизнь. Какой-нибудь пустяк вызывает это роковое, или ниспосланное Провидением, сплетение атомов. Иногда это взгляд, как случилось в Вероне с несчастными Ромео и Джульетой; иногда инстинктивное движение двух детей, желающих сорвать тот же плод в царском саду, что, например, положило начало классической дружбе Ореста и Пилада. И вот, по этой теории (столь же

удовлетворительной, как всякая другая теория Психологии чувств), великолепный любовный эпизод, так великодушно придуманный мной для Фрадика в Последней Кампании Юпитера, стал, вероятно, таинственной и бессознательной причиной, тем пустяком, который послужил первым толчком для его дружбы со мной, дружбы, вслед за тем развивавшейся и крепшей в течение шести лет умственной близости.

Во время нашего разговора Фрадик несколько раз с признательностью возвращался к этой моей очаровательной идее, — обвинить его шею руками Жанны Морлэ. Его, может быть, пленила эта хитроумная и поэтическая манера воздать должное обаянию его мужественной силы? Не знаю. — Но когда мы встали из-за стола, чтобы идти смотреть на иллюминацию по случаю Байрама, Фрадик-Мендеш был уже со мной на *vossê*¹⁾, и в обращении его чувствовалось что-то новое, откровенное, теплое, почти что близкая дружба.

Иллюминации на Востоке, как и провинции Миньо²⁾, заключаются в глиняных или стеклянных плосках, в которых горит светильник или фитиль из пакли. Но эти плоски развешены в таком необузданном изобилии (когда они оплачиваются на счет Паши), что старые полуразрушенные городá, разукрашенные во славу Аллаха, в самом деле становятся ослепительно-роскошными, — в особенности, в глазах человека Запада, пропитанного литературой, и склонного видеть повсюду на современном Востоке воспроизведение читанных и перечитанных чудес Тысячи и одной ночи, которых никто никогда не читал.

В праздновании Байрама (оплачиваемого хедивом),

¹⁾ Русскому «Вы» в португальском языке соответствует *Vossa Excelência*, собственно «Ваше Превосходительство». Более фамильярная форма, приближающаяся к обращению на «ты» (*tu*), есть *Vossê* (сокращенное *Vossa Mercê* — Ваша милость).

²⁾ Миньо — провинция на севере Португалии, родина Эсы-де-Кайрош.

плошкам не было числа, и все линии Каира, самые ломаные и самые расплывчатые, выделялись в темноте, великолепно подчеркнутые полосой света. Длинные ряды сверкающих точек отмечали края террас; над открытыми дверями горели огненные подковы; с навесов спадала искрящаяся бахрома; с каждым дуновением ветра листья деревьев дрожали, сверкая; и минареты, которые классическая восточная поэзия в течение веков сравнивает с руками Земли, простертыми к Небу, блистали богатыми браслетами, горевшими в прозрачном мраке, как настоящие руки на балу. Это было похоже (заметил я Фрадику) на то, что как-будто весь день на грязный город падала густая золотая пыль, оседая на каждом фризе мушарабие¹⁾ и на каждой ступени веранды, и теперь начала излучаться, выпукло и ярко, в спокойствии черной ночи.

Но для меня особенная и невиданная красота заключалась в праздничной толпе, которая загромождала площади и базары, и которую Фрадик толковал мне, среди шума и пыли, словно перед ним была раскрыта книга с картинками. Какие глубокие и подробные сведения о Востоке были у моего замечательного соотечественника! Он знал, к какой расе принадлежали все эти люди, столь различные и по цвету лица и по одежде, знал их историю, обычаи, место, занимаемое ими в мусульманской цивилизации. Не спеша, в застегнутом на все пуговицы фланелевом пальто, с ременчатым хлыстом под мышкой (на Востоке это атрибут Власти) он указывал и разъяснял мне эти причудливые фигуры, а я слушал его с пламенным любопытством, и, смеясь, сравнивал их с участниками сказочного маскарада, организованного каким-нибудь археологом, когда потребовалось воспроизвести «моды» семитов и их «типы» на протяжении веков, для празднества ученого безумия: — вот феллахи, в своих длинных туниках из синей шерсти, веселые, проворные; вот мрачные бедуины, постепенно передвигающие завернутые в полотно ноги, с подвешенным на груди тяжелым ятага-

¹⁾ Мушарабие — точнее машрабие — выдающееся наружу окно с решеткой.

ном в красных ножнах; еще дальше Абадие¹⁾, с копной волос, из которой торчит щетина дикобраза, образуя вокруг их головы черный ореол. . . Вот эти люди, надменного вида, с длинными усами, развевающимися по ветру, с богатым оружием, блистающим на шелковом поясе, и в коротких камзолах с буфами и с патронами на груди, — македонские арнауты; те другие, прекрасные греческие статуи, изваянные в черном дереве, — жители Сеннара²⁾; те, — что еще дальше, с желтыми платками на голове, длинная бахрома которых образует что-то вроде пелеринки из золотых нитей — всадники Хеджаза³⁾. А еще на сколько других он обратил мое внимание, сколько нового я узнал! Грязные евреи с завитыми кудрями; копты в сенаторских тогах; черные солдаты из Дарфура⁴⁾ в полотняных блузах, запыленных и забрызганных кровью; улемы⁵⁾ в зеленых тюбанах; персы в войлочных митрах; нищие из мечетей, покрытые язвами; турецкие писцы, нарядные и умащенные маслами, в расшитых золотом жилетах. . . Всех не перечислишь! То был какой-то сверкающий карнавал, в котором ежесекундно двигались мимо огромные надутые ветром мешки, качаясь на красных седлах бегущих рысью ослов, — это были женщины. И вся эта роскошная, шумная толпа проходила, призывая Аллаха, ударяя в бубны, издавая стенающие, крикливые звуки своими даурбака⁶⁾, среди медленных песен, этих арабских песен, исполненных такого печального и острого сладострастия, что, по словам Фрадика, они проникают в душу, как «царапающая ласка». Иногда среди ветхих, хрупких домишек, возвышался белый фасад богатого дома какого-нибудь шейха или пашы, с аркадами на веранде, за которыми в глубине, в безмолвии гарема, виднелись шелковые

¹⁾ Абадие — Абадиты, живущие на Севере Африки.

²⁾ Сеннар — часть Судана, по верхнему течению Нила, на правом его берегу.

³⁾ Хеджаз — область Аравии, на северо-западном берегу Красного моря.

⁴⁾ Дарфур — западная часть Судана.

⁵⁾ Улема — мудрец, ученый.

⁶⁾ Дарабукка, или дарабакка — род барабана.

4 Кайрош, Фрадик Мендеш.

драпировки, золотые узоры, сверкающие свечи в хрустальных люстрах, воздушные силуэты под светлыми покрывалами... Тогда толпа останавливалась, умолкала — и из всех уст вырывался томный возглас восхищения.

Так гуляли мы, и вдруг при выходе из Мужика¹⁾ Фрадик-Мендеш остановился и, заметив очень бледного молодого человека, с великолепными глазами, с полной серьезностью обменялся с ним саламом, этим восточным приветствием, которое состоит в том, что вы три раза касаетесь пальцами головы, уст и сердца. Я, смеясь, позавидовал его дружбе с «человеком в зеленой тунике и персидской митре», а он ответил:

— Это багдадский Улема, отпрыск древнего рода, человек большого ума... Одна из самых тонких и обаятельных личностей, с которыми мне пришлось встретиться в Персии!

Тогда, по праву дружбы, которая все теснее становилась между нами, я спросил Фрадика, что задержало его в Персии целый год и день, как героя сказок. И Фрадик, очень просто, сознался, что он пробыв столько времени на берегах Евфрата, оттого что случайно оказался замешанным в религиозном движении, которое, начиная с 1849 года, все развивалось, достигая успехов, близких к триумфу, и которое называется Бабизм. К этой новой секте его привлекло критическое любопытство: ему хотелось посмотреть, как это зарождается и основывается религия, — но мало-по-малу Бабизм вызвал в нем воинствующий интерес; не то, чтобы он восторгался учением, но он уважал его проповедников. И, когда мы углубились в менее людный, а потому более подходящий для признаний переулочек, он рассказал мне, что основоположником Бабизма был некий Мирза-Мухаммед, один из тех мессий, что каждый день вырастают среди непрерывного религиозного брожения на Востоке, где религия является наивысшей и любимой жизненной заботой. Познакомившись с христианскими евангелиями при посредстве миссионеров, посвященный в чистую тра-

¹⁾ Мужик — точнее: Муски, восточный квартал Каира, бывший «Франкский» городок.

дицию моисеева закона ширазскими евреями, приобретающее глубокое знание гебризма, этой древней национальной религии Персии, — Мирза-Мухаммед слил все эти учения с более отвлеченной и чистой концепцией магометанства, и объявил себя Бабом. По-персидски Баб означает Врата. Итак, он был вратами, единственными вратами, через которые люди могут когда-либо проникнуть в абсолютную Истину. Но Мирза-Мухаммед толковал себя буквально, как великий привратник, единственный избранный господина, приставленный открывать верующим врата Истины и, следовательно, врата Рая. Словом, он был Мессией, Христом. Он проделал всю классическую эволюцию Мессии: его первыми учениками были пастухи и женщины в какой-то безвестной деревне; он пережил свое искушение на горе; выполнил все искушительные испытания; проповедовал в притчах; привел в ужас учителей веры в Мекке; подвергся своей смертной муке, и погиб, не то обезглавленный, не то расстрелянный, в Тавризе, после поста Рамадана.

— Мусульманский мир, — продолжал Фрадик, — распадается на два религиозных толка: на шиитов и на суннитов. Персы — шииты, турки — сунниты. Их разногласия, в сущности, имеют характер скорее политический и расовый, чем богословский и догматический; несмотря на это, феллах с Нила всегда будет презирать перса с берегов Евфрата, как грязного еретика. Эти раздоры обнаруживаются особенно живо и отличаются особенным упорством, как только шиитам и суннитам приходится высказаться по поводу нового толкования веры или по поводу появления нового пророка. Так, среди шиитов Бабизм вызвал враждебное отношение, которое превратилось в гонение: — и уже само по себе это указывало, что сунниты встретят его с почтением и симпатией.

Исходя из этой мысли, Фрадик, который сблизился в Багдаде с одним из самых энергичных и влиятельных апостолов Бабизма, Саидом-эль-Суризом (он вылечил его сына от болотной лихорадки при помощи Fruit-salt), предложил ему как-то, беседуя на террасе об этих возвышенных духовных интересах, привить Бабизм среди

земледельческого населения Нильской долины и среди кочевых народностей Ливии. У сторонников суннитской секты Бабизм встретит благодарную почву для обращения; и, следуя традиционному ходу развития сектантских движений, которые на Востоке, как и повсюду, поднимаются от бесхитростных народных масс до образованных классов, эта новая волна религиозного воодушевления, начавшись у феллахов и бедуинов, быть может, докатится до какой-нибудь мечети Каира, проникнет в преподавание, в особенности если это будет в мечети Эль-Азхар, главном университете всего Востока, где самые молодые улемы составляют ядро энтузиастов, всегда склонных к новшествам и воинствующей проповеди. Здесь Бабизм приобретет богословский авторитет и литературный лоск, что даст ему возможность с успехом устремиться на старые твердыни догматического мусульманства. Эта мысль проникла глубоко в душу Саида-Эль-Суриза. Бледный молодой человек, с которым Фрадик только что обменялся саламом, был немедленно послан от имени бабистов в Мединет-Абу (древние Фивы), чтобы нащупать почву у шейха Али-Хуссейна, благодаря своей учености и добродетели пользовавшегося непрерываемым влиянием во всей Нильской долине: и он, Фрадик, не находя на Западе больше ничего привлекательного и весь поглощенный интересом к этому живописному явлению бога, тоже направлялся в Фивы, собираясь встретиться с бабистом в Бени-Суеффе, на Ниле, после полнолуния...

Я не поручусь, по прошествии стольких лет, что точно передал эти факты. Знаю только, что слова, сказанные Фрадиком среди праздничного шума Каира, произвели на меня несказанное впечатление. По мере того, как он говорил о Бабе, об апостольской миссии старого фивского шейха, о новой вере, вырастающей в мусульманском мире со своей вереницей мучеников и своим экстазом, о возможном основании бабистской империи, — Фрадик вырастал в моих глазах до грандиозных размеров. Никто из моих знакомых не был замешан в события столь возвышенные; и внимая тайне, в которую посвящал меня Фрадик, я одновременно испытывал чувство гордости

и страха. Я не ощутил бы иного волнения, если бы накануне отплытия апостола Павла в Грецию для проповеди божественного слова язычникам, я прогуливался с ним по узким улицам Селевкии, слушая, как он делится со мной своими надеждами и мечтаниями!

Разговаривая таким образом, мы вошли во двор мечети Эль-Азхар, где праздник Байрама бушевал с еще большим блеском и шумом. Но меня уже не привлекали диковинки этого мусульманского базара, ни альмеи, танцующие среди красных и золотых блёстков; ни поэты пустыни, декламирующие деяния Антара; ни дервиши, под своими полотняными палатками, размеренно выкрикивающие славословия Аллаху... Молча, весь охваченный мыслью о Бабе, я все время мечтал о том, что хорошо бы было принять участие в этой духовной борьбе! Что, если бы я отправился в Фивы вместе с Фрадиком?... Почему бы и нет? Я молод, во мне много энтузиазма. Я проявлю гораздо больше мужества и благородства, если вступлю на поприще евангелиста на Востоке, чем если в конце концов самым банальным образом вернусь в банальный Лисабон, чтобы списывать листы бумаги под газовым рожком в редакции Португальской Газеты! И мало-по-малу над этим желанием, как пар над кипящей водой, образовалось видение. Мне казалось, что я ученик Баба, и багдадский улема посвящает меня в Истину. И я сразу отправляюсь проповедовать, распространять бабистскую веру. Куда же я поеду? Конечно, в Португалию, неся спасение прежде всего наиболее дорогим для меня душам. Как апостол Павел, я вхожу на галеру; бури бушуют вокруг моего апостольского корабля; образ Баба является мне над водами, и его ясный взор наполняет мою душу непоколебимой силой. Наконец, я вижу землю, и светлым утром плыву по светлому Тажо, на котором уже столько веков не показывался ни один посланец божий. Издали я посылаю проклятие на церкви Лисабона, вместилища дряхлой и менее чистой веры. Я схожу на берег. И, в порыве божественного отречения от продолжающих оставаться земными благ, я бросаю на произвол судьбы свой багаж, избегаю по благословенной Розмариновой

улице, и став посреди площади Лорето в тот час, когда директора департаментов не спеша выходят из-под Аркады¹⁾, я раскрываю свои объятия и кричу: «Я есмь Врата!»

Я не последовал проповеди Бабизма, но увлечшись этими мечтаниями, потерял из виду Фрадика. Я не знал, как добраться до отеля Шеперд, а, чтобы спросить дорогу, я знал по-арабски только такие полезные слова, как вода и любовь! Я пережил несколько тревожных минут, рыская, как обезумевший, по площади Эль-Азхара, спотыкаясь о переносные очаги, на которых кипел кофе, неосторожно наталкиваясь на неприветливых вооруженных бедуинов. И уже я выкрикивал поверх толпы имя Фрадика, — как вдруг нашел его: он преспокойно смотрел на танцующую альмею...

Но он сразу последовал за мной, пожимая плечами. И немного поодаль, не позволив мне, полюбоваться на поэта; окруженный восторженными феллахами и магрибинцами²⁾, которые стояли опершись на копыя, печально, нараспев он читал длинные полосы замасленной бумаги. Танцы и Поэзия, так утверждал Фрадик, эти два великих восточных искусства, находились в состоянии самого жалкого упадка. И то и другое утратило традиции чистого стиля. Альмеи, развращенные влиянием казино Эзбекии, где отплясывают канкан, уже оскверняли изящество старых арабских танцев, закидывая ногу в воздух по пошлой марсельской моде! И в Поэзии торжествовала та же банальность, смешанная с экстравагантностью. Никто не уважал, никто почти даже не знал утонченных форм персидского классицизма; источник вдохновения иссыхал среди мусульман; и бедная восточная поэзия, с искусственной напыщенностью повторяя старые темы, скатилась, как и наша поэзия, до варварского Парнаста...

— Таким образом, — пробормотал я, — Восток...

¹⁾ Аркады — окаймляющие в Лисабоне площадь Террейро-до-Пассо, на которой расположены главные присутственные места.

²⁾ Магрибинцы — уроженцы Магриба, то-есть Запада, главным образом Западной Африки.

— Так же ничтожен, как Запад.

Мы потихоньку вернулись в отель, и по пути Фрадик, докуривая сигару, рассказывал мне, что восточный дух живет в настоящее время только философской работой мысли, каждое утро пробуждаясь для нового волнующего понимания морали, которое преподносят ему базарные логики и метафизики пустыни...

На следующий день я проводил Фрадика на Булак, где он должен был сесть в лодку для поездки в Верхний Египет. Его дебарие дожидался его, привязанный к столбам, вблизи домов Старого Каира, среди барок из Асуана, нагруженных чечевицей и сахарным тростником. Солнце погружалось в ливийскую пустыню, а в вышине небо засыпало, без единой тени, без единого облачка, чистое во всей своей глубине, как душа праведника. Вереница коптских женщин с песнями спускалась к водам Нила, к этим благословеннейшим водам, неся на плече желтые кувшины. И ибисы, прежде чем улететь в свои гнезда, посылали, как в то время, когда они были богами, свое вечернее благословение на террасы, радостно взмахивая крыльями.

Я спустился вслед за Фрадиком в обитую материей каюту дебарие, с окнами на реку; по стенам висело оружие на случай утренней охоты; груды книг дожидались спокойных часов отдыха во время зноя, когда лодка медленно тянется на бечеве. Затем мы постояли на палубе, молча созерцая эти берега, которые на протяжении столетий пленительно действовали на всех людей, так как все чувствовали, что на них жизнь исполнена высшего блага и несравненного наслаждения. Со времени грубых пастухов, которые смели с лица земли Танис¹⁾, сколько их останавливалось здесь, и, подобно нам, глядело на эти воды, на эти небеса, жадными, восторженными или мечтательными глазами: цари Иудеи, цари Ассирии, цари Персии; великоленные Птоломеи; префекты Рима и префекты Византии; Амру, посланец Мухаммеда, Людовик Святой — посланец Христа; Александр Великий,

¹⁾ Танис — город в дельте Нила.

грезящий о Восточной Империи и Бонапарт, воскрешающий его беспредельную грёзу; и все те, что приходили сюда только для того, чтобы рассказать о прекрасной земле, начиная с словоохотливого Геродота и кончая первым Романтиком, бледным позёром, поведавшим нам о страданиях Ренэ! Всем знаком этот божественный и бесподобный пейзаж. Нил течет, отечески нежный, неся изобилие. По ту его сторону зеленеют цветники и плодовые сады Рода, над которыми кружатся голуби. Еще дальше — под сенью пальмовых рощ Гизе, стройных, цвета бронзы на золотом фоне заката, приютились деревни, простые, как гнёзда. На краю пустыни, гордась своей вечностью, возвышаются три Пирамиды. Достаточно этого, и душа навсегда окована воспоминаниями; и чтобы жить среди этой сладостной красоты, народы вступают в многолетние войны.

Но час отъезда наступил: я обнял Фрадика с каким-то особенным волнением. Поднятый парус вздулся под нежным ветерком, от которого дрожали листья мимозы. На носу лодочник, протянув руки ладонями к небу, воскликнул: — «Поплывем во имя Аллаха, милосердного и любвеобильного!» Кругом, с других лодок, раздалось медленное бормотание: «Плывите во имя Аллаха!» Один из гребцов, сидя у борта, ударил по струнам дурбака, другой взялся за глиняную флейту. И среди благословений и песен просторная барка стала разрезать священные воды, унося по направлению к Фивам моего несравненного друга.

IV.

В течение нескольких лет я не встречался с Фрадиком-Мендешем. Все это время он путешествовал по Западной Европе, а я странствовал по Америке, Антильским островам и по республикам Мексиканского залива. А когда моя жизнь обрела, наконец, спокойствие в старом графстве Англии, Фрадика охватило то «этнографическое любопытство», о котором он упоминает в письме к

Оливэйре-Мартиншу¹⁾, и он пустился в долгий путь по Бразилии, по пампам²⁾, Чили и Патагонии.

Но нить взаимной симпатии, которая протянулась между нами в Каире, не порвалась. И как ни была она тонка, мы не выпускали ее из рук среди более насущных забот, что вставали перед нами на не совпадавших путях нашей жизни. Почти каждые три месяца мы обменивались письмами, по пять-шесть листов почтовой бумаги; я в беспорядке загромождал их образами и впечатлениями, а Фрадик тщательно заполнял мыслями и фактами. Кроме того, про Фрадика мне рассказывали мои товарищи, с которыми он сблизился за время своего пребывания в Лисабоне с осени 1875 по лето 1876 года, когда он вел менее замкнутую жизнь и оставил по себе память, как о чарующей и умной личности.

Не взирая на различия темперамента и мировоззрений, все, как и я, в полной мере ощутили обаяние этого удивительного человека. Автор «Современной Португалии»³⁾ писал мне о нем в ноябре 1877 г.: — «Я встретился здесь с твоим Фрадиком; на мой взгляд, это самый интересный португалец XIX века. У него есть общие черты с Декартом. Та же страсть к путешествиям, ради которой философ откладывал в сторону книги, чтобы «изучать великую книгу Вселенной»; та же склонность к роскоши и шуму, которая в Декарте выражалась в любви к посещению дворцов и военных стоянок; та же любовь к таинственности и к неожиданным исчезновениям; то же сильное, хотя и не выставленное на показ, гордое сознание дворянского происхождения; то же невозмутимое мужество; то же удивительное сочетание романтических устремлений и точного разума, фантазии и геометрии. И при всем этом ему недостает серьезной, высшей цели, которую эти сами по себе прекрасные качества помогли бы осуществить в жизни, и боюсь, что вместо «Discours de la

¹⁾ Оливэйра-Мартинш — публицист и историк (1845—1894), автор многочисленных сочинений, в том числе «История Португалии» и «Современная Португалия».

²⁾ Пампы, или пампасы (las rampas) — название южно-американских степей.

³⁾ См. прим. 1 на этой стр.

méthode», он после себя оставит только водевиль. Рамальо-Ортиган¹⁾, немного спустя, говорит о нем в дружеском письме: «Фрадик-Мендеш — самое совершенное, самое законченное произведение цивилизации, которым дано было насладиться моему взору. Ни один человек не обладает лучшим оружием, чтобы завоевывать себе триумф в Искусстве и Жизни. Роза в его петлице всегда самая свежая, как мысль, рождающаяся в его мозгу, всегда самая оригинальная. Он, не останавливаясь, проходит пять миль, побеждает на состязаниях лучших гребцов Оксфорда, один, без спутников, углубляется в пустыню, охотясь на тигра, с хлыстом в руке бросается на отряд вооруженных копьями абиссинцев: — а вечером в салоне, в своем сюртуке от Кука, с черной жемчужиной на ослепительном блеске манишки, он улыбается женщинам той же чарующей и властной улыбкой, которой перед тем улыбался лишениям, опасностям и смерти. Он фехтует, как кавалер ордена Святого Георгия, обладает самыми последними и самыми точными сведениями в области физики, астрономии, филологии и метафизики. Какое поучительное, какое увлекательное зрелище, когда в его комнате следишь за интимной жизнью этого туриста-джентльмена, среди чемоданов из русской кожи, больших щеток с ручками резного серебра, шелковых восточных халатов и карабинов Винчестер, в то время как он занят своим туалетом, выбирает духи, пьет из чашки чай, присланный ему Великим Князем Владимиром, и диктует лакею в длинных чулках, более почтенному и безупречнее воспитанному, чем мажордом Людовика XVI, телеграммы, которые сообщат о его здоровье в парижские и лондонские будуары. А затем он запирает двери для внешнего мира — и читает Софокла в подлиннике».

Поэт «Смерти Дон Жуана» и «Музы на каникулах»²⁾

¹⁾ Рамальо-Ортиган (1837—1916) — публицист и художественный критик. См. о нем вступительную статью к тому I Сочинений Эсы-де-Кайрош, глава III.

²⁾ Наиболее выдающийся современный португальский поэт Герра-Жункайро; родился в 1850 году. «Смертью Дон-Жуана» (1874 г.) и «Музой на каникулах» (1876 г.) он завоевал большую популярность на родине.

называл Фрадика «Сент-Бевом в переплете из кожи Алкида». В сохранившемся у меня письме от этого времени он таким образом объяснял появление Фрадика на земле: «Однажды бог взял кусочек Гейриха Гейне, кусочек Шатобриана, кусочек Бруммеля¹⁾, расплавленные куски авантюристов Возрождения и высохшие обломки мудрецов Французского Института, облил их шампанским и типографскими чернилами, вымесил все это своими всемогущими руками, поспешно вылепил Фрадика и, бросив его на землю, сказал: — «Иди и одевайся у Пуля²⁾!» Наконец, Карлош Майер, жалея, как и Оливэйра-Мартинш, что многообразным и крупным способностям Фрадика недостает объединяющей силы, которая направляла бы их к высшей цели, как-то охарактеризовал личность моего друга в следующих тонких и вдумчивых словах: «Мозг Фрадика замечательно хорошо устроен и обставлен. Не хватает только идеи, которая арендовала бы его, жила и хозяйничала в нем. Фрадик — гений, с билетиками о сдаче в наймы!»

В ту же зиму Фрадик познакомился с мыслителем «Современных Орд»³⁾, о котором в одном из своих писем к Оливэйре-Мартиншу он говорит с таким энтузиазмом и такой симпатией. И последним в ряду моих друзей молодости, сблизившихся с автором «Lapidarias», был Ж. Тэйшейра-д'Азеведо: это случилось летом 1877 года в Синтре, в вилле Сарагоса, где Фрадик отдыхал после поездки по Бразилии и республикам Тихого Океана. Они много беседовали, всегда расходясь во мнениях. Ж. Тэйшейра-д'Азеведо, как человек нервов и страстных увлечений, испытывал непреодолимую антипатию к тому, что он называл критическим малокровием Фрадика. Весь сотканный из чувства, он не мог слиться духовно с человеком, сотканным из анализа. Обширные познания Фрадика не производили на него впечатления. «Сведения этого элгантного ученого — кусочки Ларусса, разведенные в

¹⁾ Бруммель — английский щеголь, живший с 1778 по 1840 год.

²⁾ Пуль — фешенебельный портной.

³⁾ Поэт Антеро-де-Кентал (1842—1891). См. о нем вступительную статью к тому I Сочинений Эсы, главы I—III.

одеколоне». Наконец, некоторые утонченные привычки Фрадика (серебряные щетки и шелковые сорочки), его язвительный голос, безупречный и изысканный способ выражать свои мысли, манера пить шампанское с содовой водой и некоторые другие черты вызвали в моем старом товарище с переулка Гуардамор почти что физическое раздражение. Но, как и Оливэйра-Мартинш, он признавал Фрадика самым любопытным и многосторонним португальцем XIX века, и регулярно переписывался с ним — чтобы ожесточенно опровергать его взгляды.

В 1880 году (девять лет спустя после моих странствований по Востоку) я проводил Пасхальную неделю в Париже. Как-то раз после оперы я отправился ужинать к Биньону. Я приступил к устрицам и к хронике из Temps, как вдруг из-за газеты, которую я прислонил к бутылке, показалось большое белое пятно — жилет, манишка, галстук, лицо, всё безупречной белизны. И очень ясный голос проговорил: «Мы расстались несколько лет назад на Булакской набережной...» Я встал с громким криком, Фрадик — с улыбкой, и метрдотель отступил назад, пораженный чисто-южным бурным энтузиазмом, с которым я обнял Фрадика. С этого вечера в Париже началась действительно наша умственная близость, которая в течение восьми лет, не искажаясь и не изменяя себе, продолжалась без перерыва, не омрачаемая ни малейшей тенью.

Я сознательно называю ее умственной, так как эта дружба никогда не выходила за пределы духовных интересов. В те радостные промежутки времени, которые я проводил в обществе Фрадика в Париже, Лондоне и Лисабоне, с 1880 по 1887 год, и в обширной переписке я имел дело исключительно с его интеллектом и беспрерывно следил за жизнью его мысли, принимая в ней деятельное участие. Но я не проник в жизнь его чувства, в жизнь сердца. И, по правде сказать, меня не снело любопытство и желание познать её, может быть, я чувствовал, что редкостная оригинальность Фрадика сосредоточивалась в мыслящем существе, и что другое существо, одарённое чувством и созданное из банальной человеческой глины, воспроизводило без особенных

отклонений обычную хрупкость человеческой глины. К тому же, с того самого пасхального вечера в Париже, от которого ведут начало наши отношения, мы навсегда сохранили своего рода привычку, несколько высокомерную, быть может, педантичную, — привычку рассматривать друг друга, как носителей чистого духа. Если бы я в то время замыслил оригинальную философскую систему, или создавал заповеди новой религии, или, воспользовавшись рассеянностью Природы, похитил у нее один из ее сокровенных законов, я прежде всего посвятил бы в свою духовную деятельность Фрадика; но если бы дело касалось чувства, я никогда не пришел бы поведать ему о какой-нибудь надежде или о каком-нибудь разочаровании. И Фрадик соблюдал по отношению ко мне ту же непреступную сдержанность, представляя передо мною только, как мыслящий аппарат.

Я отчетливо помню одно сияющее майское утро, когда мы, разговаривая, пересекали Тюльерийский сад под цветущими каштанами. Опираясь на мою руку, Фрадик не спеша развивал мысль, что крайняя демократизация Науки, её всеобщее и безграничное распространение среди плебса было великой ошибкой нашей цивилизации, которая таким путем готовила себе скорую моральную катастрофу... Мы уже выходили за ограду на площадь Согласия, как вдруг Фрадик, бросивший среди нежной майской зелени эти предсказания гибели и всеобщего конца, останавливается, как вкопанный, и умолкает! Перед нами по направлению к Rue Royale быстрой рысью проехала запряженная роскошной лошадью карета, в которой, в полумраке атласной обивки, я различил волосы медового цвета. Фрадик быстро трясет мою руку, бросает невнятное «До свидания!», делает знак извозчику, и выбивающаяся из сил кляча уносит его галопом в сторону набережной Орсе. «Женщина!» подумал я. И в самом деле, это была женщина, источник его мучений; и, как явствует из письма к мадам де-Жуарр (датированного «Май, суббота» и начинающегося словами: «Вчера я философствовал с приятелем в Тюльерийском саду»), Фрадик мчался в этой пролетке навстречу тяжелому и оскорбительному разочарованию. В сумерки того же дня

я, как было условлено, зашел за Фрадиком в старый палаццо на улице Варенн, где он с Рождества устроил свою резиденцию, обставив ее с такой благородной и скромной роскошью. Не успел я войти в залу (прозванную нами «Героической», потому что её стены были увешаны четырьмя гобеленами Луки Корнелия¹⁾, изображавшими Подвиги Геркулеса), как Фрадик отошел от окна, откуда он глядел в сад, очертания которого уже сливались в сумраке, и приблизился ко мне, как ни в чем не бывало, заложив руки в карманы шелкового пиджака. И, словно ничто другое не занимало его с утра, кроме темы нашей беседы в Тюльерийском саду:

— Я не успел договорить... Наука, дорогой мой, должна, как и в прежние времена, укрыться в Святилища. У нас нет другого способа спастись от моральной анархии. Она должна укрыться в Святилища, быть вверена священной коллегии мудрых, которая стала бы охранять ее и ограждать от любопытства плебса... Эта мысль должна лечь в основу программы для новых поколений!

Быть может, если бы я взглянул в его лицо, я прочел бы на нем следы бледности и волнения; но тон его был прост и уверен, тон критика, всецело занятого разработкой своей идеи. Другой человек, испытав за несколько часов до этого такое оскорбительное и тяжелое разочарование, по меньшей мере, пробормотал бы, в общей, безличной формуле изливая свою душу: «Ах друг мой, как жизнь нелепа!» Он же заговорил о Науке и о Плебсе, уверенно излагая мне домыслы своего мозга, чтобы мои глаза не заглянули хотя бы на мгновение в горькие переживания его сердца, или чтобы его собственные глаза не задерживались на них слишком долго.

В письме от 1883 года к Оливэyre-Мартиншу Фрадик говорит: «Подобно древним царям Востока, человек должен представлять перед себе подобными не иначе, как всецело и безмятежно занятый делом правления — то есть мышлением». Это правило, горделивость которого

под-стать разве только Спинозе или Канту, строго направляло его поведение. По крайней мере, по отношению ко мне он неизменно придерживался его в продолжение всей нашей совместной деятельной жизни, открываясь мне и всецело отдавая себя исключительно, как Интеллект... Может быть, именно поэтому я чувствовал в нем более, чем в ком-либо другом, властность и притягательную силу.

V.

В складе ума Фрадика, или точнее, в его способе мышления, прежде всего поражала великая свобода в соединении с великою смелостью. Я никогда не встречал человека, над которым имели так мало власти и в которого так мало проникали «готовые идеи»: и уж конечно никто не выражал своих оригинальных, собственных своих мыслей с более спокойным и величавым бесстрашием. «Пусть на протяжении тридцати столетий геометрия утверждает (пишет он в письме к Ж. Тэйшэyre-д'Азеведо), что прямая есть кратчайшее расстояние между двум точками, но если бы я нашел, что более прямым и кратким путем от дверей Hôtel Universal к дверям Аванезы, окажется обход по кварталу Св. Мартина и по холмам Граса, я немедленно заявил бы многовековой геометрии, что кратчайшее расстояние между двумя точками есть блуждающая и капризная кривая!» Провозглашать независимость мысли с такой безудержной фантазией — это уже само по себе редкое качество: — но когда ее бесстрашно защищают вопреки величественной Традиции, Догме и заключениям ученых оракулов, то мы уже имеем дело с доблестью, с редчайшей доблестью, составляющей ослепительное исключение!

В другом письме к Ж. Тэйшэyre-д'Азеведо Фрадик рассказывает об одном поляке, Г. Корнуссом, профессоре и критике, сотруднике Швейцарского Обозрения. «Его вкус (говорит Фрадик), вполне самостоятельный и вполне определенный, постоянно возмущался против произве-

¹⁾ Лука Корнель — нидерландско-французский живописец XVI века.

дений литературы и искусства, которые критика испокон века единодушно признает первоклассными — против Освобожденного Иерусалима Тассо, против холстов Тициана, трагедий Расина, проповедей Боссюэ, против наших Лузиад, и других вошедших в канон памятников. Но всякий раз, когда по долгу чести профессора и критика он должен был провозглашать истину, этот сильный, полнокровный человек, который героически принимал участие в двух восстаниях, дрожал и думал: «Нет! Почему мое суждение должно оказаться вернее суждения стольких тонких мыслителей на протяжении веков? Кто знает? Быть может, в этих произведениях обретается величие, — и только мой ум бессилён понять его». И несчастный Корнуцкий продолжал безутешно бормотать, слушая хоры из *Athalie*¹⁾ или глядя на обнаженных красавиц Тициана, с душой более печальной, чем осенние сумерки: «Какая красота!»

Мало кто испытывает муки критика, от которых страдал злосчастный Корнуцкий. Но все мы грешны в таком же умственном раболепстве и осуществляем его с веселой беспечностью. Иногда, конечно, потому, что нашему духу недостает мужественной смелости выступить против авторитета тех, кому он искони приписывает более твердое суждение и более возвышенное знание; иногда потому, что общепринятые идеи, сохранившиеся в нашей памяти от прочитанных книг и разговоров, в колеблющейся и расплывчатой форме, кажутся нам нашими собственными идеями; наконец, потому что эти суждения навязчиво и незаметно приводят нас к сходным решениям; — так или иначе, но печальная суть в том, что в наши дни мы все имеем склонность думать и чувствовать так, как до нас и вокруг нас чувствовали и думали другие.

«Человек XIX века, европеец, потому что только европеец всем существом своим принадлежит XIX веку», — говорит Фрадик в письме к Карлошу Майэру, — «живет в бледной и тусклой атмосфере заразной банальности, порожденной теми сорока тысячами томов, кото-

¹⁾ «*Athalie*», трагедия Расина.

рые Англия, Франция и Германия, обливаясь потом и жалобно стеная, ежегодно раскладывают на перекрестках, и которое воспроизводят в бесконечном однообразии, и только с той или другой новой прикрасой, четыре мысли и четыре впечатления, унаследованные нами от Античности и Ренессанса. Через посредство своих школ Государство распространяет заразу. И это, о Каролус, называется воспитанием! Начиная едва разбираемой по складам, первой «Книги для чтения», ребенка пичкают пластами общих мест, и в течение всей его дальнейшей жизни не проходит дня, чтобы газеты, журналы, брошюры и книги не забивали его ума этими общими местами, обращая его в какую-то клейкую массу банальности, делая его столь же бесполезным для творческой работы, как почва, ставшая бесплодной под слоем песку и щебня, которым ее бессмысленно покрыли. Если бы в наши дни Европеец захотел приобрести несколько новых мыслей, оригинальных и сильных, ему пришлось бы укрыться в пустыню или в пампы; и ждать там терпеливо, чтобы живое дуновение Природы, коснувшись его мысли и очистив её мало-по-малу от сора двадцати веков литературной жизни, возвратило ей её девственность. Поэтому я утверждаю, о Каролус Майэр, что, если горделивая Мысль желает вернуть себе божественную способность творить, она должна отправиться на два года полечиться от литературной цивилизации в каком-нибудь готтентотском или патагонском курорте. Патагония действует на мысль, как Виши на печень, очищая её и восстанавливая её естественные отправления. После того, как цивилизованный человек проживет два года голый среди голых патагонцев, руководясь логической свободой инстинкта, что останется у него от всех его мыслей о Прогрессе, Морали, Религии, Промышленности, Политической Экономии, Обществе и Искусстве? Одни только лохмотья. Лохмотья брюк и пиджака, которые он привез с собою из Европы, истрепанные двадцатимесячным пребыванием в лесной чаще и болотах. И не имея под рукой книг и журналов, которые возобновляли бы в нем запас «готовых идей», ни благодетельного Нунеша-портного, ко-

торый снабдил бы его новой сменой «готового платья», Европеец незаметно возвратится к благородному первобытному состоянию, к телесной нагоде и душевной оригинальности. Он вернется оттуда сильным и беспорочным Адамом, стряхнувшим с себя литературу; из его черепа будут выметены все понятия и сведения, нагроможденные там со времен Аристотеля, и он горделиво приступит к еще неизведанному изучению человеческой жизни. О Карлош, дух очищающий духи, не хочешь ли снова погрузиться в первобытность и отправиться со мной во вдохновляющую Готтентотию? Там, свободные и обнаженные, растянувшись на солнце около пальмы и ручейка, которые будут милостиво питать наше тело, воткнув крепкое копьё в траву, и слушая, как нежная песнь женщин вливает в наши души необходимые ей доли поэзии и сна, мы разразимся громким хохотом, держась за обожженные солнцем бока, при воспоминании о великих философских системах, о великих нравственных системах, о великих экономических системах, о великих критических системах, о великих выдумках, что странствуют по нашей Европе, где скопились громадные муравейники людей в цилиндрах, оглушенных суевериями цивилизации, иллюзией золота, педантизмом науки, мистификациями реформаторов, рабством рутины и бессмысленным самолюбованием!..»

Так говорит Фрадик. Но он приступил к этому «еще неизведанному изучению человеческой жизни», которое, по словам автора «Lapidarias», доступно только обновленному Адаму, вернувшемуся из Патагонии и очистившему свой ум от долголетней пыли и сора литературной истории, — он приступил к нему с несравненной энергией и искренностью, не покидая классических стен улицы Варени. И в этом он обнаруживал нравственную отвагу. В мире, с которым его неразрывно связывали вкусы и привычки, в мире, полном посредственности, где всё подчинено правилам, в мире, лишенном изобретательности и неподражательной инициативы, где идеи должны пользоваться «всеобщим признанием», как монеты, а не являться плодом самостоятельного творчества, иначе они будут неприемлемы, — в этом мире Фрадик, как непокор-

ный и порывистый Судия, не отступал перед явной опасностью прослыть беспокойным искателем оригинальности, жадным до мелкого тщеславия и стремящимся ни в коем случае не походить на других. Изобретательный и свежий ум, одаренный самобытной силой мышления, и дающий полный простор богатой и многообразной жизни, которая одушевляет и наполняет его, более неприятен нашему обществу, чем грубоватый сын природы, чьи шевелюра, громкий хохот и непринуждённое движение крупных рук и ног не согласуются с ограничительными правилами «светских приличий». О таком недисциплинированном и творческом мыслителе сразу же начинают бормотать недоверчиво: «Всё с претензиями! Он бьёт на эффект, хочет казаться оригинальным!» Но в том то и дело, что Фрадик ничего так не ненавидел, как эффект и оригинальничание. Я не видал у него никаких других галстуков, кроме темных. И он согласился бы на всё, только бы не слыть одним из тех людей, которые, не тая искренней ненависти к Диане и к её культу и лишь заботясь о том, чтобы на них с ужасом указывали на площадях, отправляются в праздник богини, размахивая большим факелом, поджигать её храм в Ефесе. Он согласился бы на всё, — пишет он в одном письме к мадам де-Жуарр, — «только бы не быть принуждённым одевать Истину в Магазилах Лувра, чтобы получить право ввести её в дом Анны де-Варль, герцогини де-Варль д'Оржемон. Если я появлюсь там со своей подругой, то она войдет обнаженная, совершенно обнаженная, попирая ковры своими босыми ногами, направляя на людей благодетельные кончики своих благородных обнаженных грудей. *Amicus Mundus, sed magis amica Veritas!* Эта прекрасная латинская фраза означает, дорогая крёстная, что я в сущности считаю оригинальность приятной женщинам и неприятной только мужчинам, за что я люблю её вдвойне непоколебимой любовью.»

Эта независимость, эта непринужденная гибкость духа в соединении с глубокой искренностью мешали ему увлечься всецело одной какой-нибудь системой, которая по инертности человеческой природы навсегда закрепила бы его за собой; и эти качества, больше всего подходили

для постоянной и любимой мыслительной работы Фрадика. В 1882 году он писал Оливэyre-Мартиншу: «К сожалению, во мне нет ни ученого ни философа. Я хочу сказать, что не принадлежу к числу достоверных и полезных людей, по характеру своему предназначенных для производства той второстепенной аналитической работы, что носит название Науки и заключается в приведении множества разрозненных фактов к частным типам и законам, объясняющим модальности Вселенной; я не принадлежу также к числу людей обаятельных и недостоверных, по своему гению предназначенных для производства той высшей аналитической работы, что носит название Философии и заключается в приведении этих законов и этих типов к общей формуле, объясняющей самую сущность Вселенной. Не будучи ни ученым ни философом, я не могу содействовать благу моих близких, ни возвышая их благосостояние при помощи науки — производительницы богатств, ни возвышая их душевное благородство при помощи метафизики — вдохновительницы поэзии. Доступ в историю также закрыт для меня: — ибо, если достаточно обладать талантами, чтобы создать литературное произведение, то, чтобы приступить к истории, необходимо обладать добродетелями. А я-то!.. Я должен остаться человеком, который с величайшим любопытством и вниманием проходит среди идей и фактов. В настоящее время эгоистическое занятие моего ума заключается в том, дорогой историк, что я подхожу к какой-нибудь идее или к какому-нибудь факту, осторожно проникаю в них, тщательно пробегаю их, исследую то, что в них неизведано, наслаждаюсь всеми неожиданностями и теми умственными переживаниями, которые они могут породить, заботливо подбираю урок или частицу истины, скрывающуюся в их складках, а затем выхожу наружу, не торопясь, и хладнокровно приступаю к другому факту или другой идее, словно я один за другим осматриваю города какой-нибудь страны, славящейся своим искусством и своей роскошью. Так когда-то изъездил я Италию, очарованный блеском цветов и форм. Как человек и как мыслящий человек, я просто остался туристом.»

Таких умственных туристов множество во Франции и

Англии, с той только разницей, что Фрадик не ограничивался внешними и безличными наблюдениями, как это делают путешественники по городам Востока, не расставляющие с представлениями и вкусами европейцев и изучающие только воздушные очертания памятников и одеяния толпы. Фрадик (так развивал он дальше свой образ) превращался в «гражданина тех городов, которые он посещал». Он держался того принципа, что необходимо на время поверить, чтобы хорошенько освоиться с какой-нибудь религией. Так, чтобы понять бабизм и раскрыть его тайны, он сделался бабистом. Так, в Париже он вступил в клуб революционеров, Батиньольские Пантеры, ходил на его заседания в грязном пиджаке, скрепленном булавками, в надежде сорвать там «цветок какой-нибудь поучительной экстравагантности». Так, в Лондоне он вступил в состав обрядовых позитивистов, которые в праздники контистского календаря¹⁾ возжигают ладан и миру на алтаре Человечества и украшают розами образ Огюста Конта. Так, он сблизился с теософами и щедро помог делу основания Обозрения Спиритов, и закутанный в полотняную тунику, председательствовал на сеансах вызывания духов на улице Кардинэ, между двумя высшими медиумами, Патовым и лэди Торган. Так, он целое лето прожил в Сео-д'Урхель²⁾, этой католической цитадели карлизма, чтобы, как он говорит, «допытаться, какие побуждения и формулы создают карлиста, потому что всякий сектант повинуется реальности побуждения и иллюзии формулы». Так, он стал наперсником почтенного князя Кобласкини, чтобы «разобрать на части и изучить механизм мозга нигилиста». Так, приготовлялся он (когда смерть застала его врасплох), к новой поездке в Индию, чтобы стать действенно-верующим буддистом и исчерпывающим образом познать буддизм, на котором в последние годы жизни он сосредоточил свое любопыт-

¹⁾ Последователи Огюста Конта, основавшего позитивную религию, создали календарь, в котором поминались великие деятели всемирной истории, вместо христианских святых.

²⁾ Сео-де-Урхель, испанский городок в Восточных Пиренеях, около французской границы, служивший неоднократно крепостью карлистов во время междоусобной войны в Испании.

ство и критическую мысль. И о нем можно сказать, что он был последователем всех религий, членом всех партий, учеником всех философских систем, — кометой, блуждающей посреди идей, убежденно упивающейся ими, от каждой идеи получающей новую частицу субстанции, но в каждой из них оставляющей немного своей теплоты и мыслительной энергии. Знавшие Фрадика поверхностно, называли его дилетантом. Нет! Серьезная убежденность (англичане называют её earnestness), с какой Фрадик устремлялся в реальную глубину вещей, сообщала его жизни ценность и действительность, гораздо высшие, чем те, что дилетантизм, это скептическое развлечение, на которое так резко обрушивался Карлейль, сообщает характерам, находящим в нем усладу. В самом деле, дилетант движется среди идей и фактов, подобно тому как бабочки (с которыми его сравнивают испокон века) порхают среди цветов, то отдыхая, то снова пускаясь в легкомысленный полёт и обретая в этой непостоянной изменчивости наивысшее наслаждение. Но Фрадик, как пчела, из каждого растения терпеливо извлекал мед, я хочу сказать: из каждого мнения он извлекал ту «частицу истины», которая неизменно содержится в каждом из них, с тех пор как люди, вслед за другими людьми, воспылали к ним страстным интересом.

Вот как проявлялась эта неутомимая и возвышенная мысль. Что же было ее существенным и неотъемлемым качеством? Насколько я мог уловить, высшим умственным качеством Фрадика мне всегда казалось замечательное осознание действительности. В одном из своих писем к Антеро де-Кентал, наводящем на размышление, несмотря на окутывающую его туманность, он говорит: «У всякого явления есть реальность. Выражение Реальность не есть философский термин; но я употребляю его, бросаю его на угад, ощупью подвигаюсь с ним вперед, чтобы извлечь из него максимум понятия, трудно поддающегося учету, почти что несводимого к словесному выражению. Итак, в отношении нашего рассудка и его способности различать, у каждого явления есть своя реальность, я хочу сказать — известные характерные черты, или (выражаясь образно, как советует Бюффон)

известные контуры, которые его ограничивают и определяют, придают принадлежащий ему в рассеянной повсюду совокупности вещей облик, и составляют точный, реальный и единственный образ его бытия. Только заблуждение, невежество, предвзятые мысли, традиция, рутина и, главное, иллюзия, окутывают каждое явление какой-то туманностью, которая стирает и искажает их контуры и мешает умственному взору различать точный, реальный и единственный образ их бытия. Точь в точь то же самое происходит со зданиями в Лондоне, погруженным в туман. . . Все это у меня выражено неуверенно и неполно! За окном солнце светит с бледного и ясного неба на мой монастырский садик, покрытый плотным слоем снега: в этом чистом и светлом воздухе, когда предметы приобретают упругую рельефность, я потерял всю гибкость и текучесть философской терминологии: я могу из'ясняться только при помощи образов, вырезанных ножницами. Но вы то, конечно, поймете, прекрасный и мудрый Антеро! Вам приходилось бывать в Лондоне, осенью, в ноябре? По утрам, когда спускается туман, бывает трудно различить, что представляет сгущающаяся тень в глубине лондонской улицы: статую героя или кусок стены? Весь город погрузился в сероватую иллюзию, — и с удивлением видишь, что попал в трактир, когда думал вступить в храм. Для большинства мыслящих людей такой же точно туман витает над реальностями жизни и мира. Отсюда происходит, что почти все их шаги — ложны, почти все их суждения — построены на обмане и они тоже смешивают Храм с Трактиром. В редких случаях умственный взор обладает достаточной остротой и достаточной силой, чтобы прорезать туман и уловить точные очертания, истинный контур реальности. Вот что я хотел сказать вам своим детским лепетом».

И правда, Фрадик был одним из счастливых обладателей этого особенного умственного зрения. Одна только манера медленно направлять глаза и молчаливо различать, — как выражался Оливэйра-Мартинш — сразу обнаруживала его внутреннюю работу по сосредоточению и использованию Разума, словно, он долго и упорно

направлял в одну точку луч света, пока не рассеется туман, и Реальность не выступит мало-по-малу наружу в своей точной и единственной форме.

Наиболее внушительным проявлением этого великолепного таланта была его способность давать определения. Наделенный духом, который видел с величайшей точностью; наделенный даром слова, который передавал мысль с величайшей определенностью, он мог подводить итоги несравненно глубокие и безошибочные. Я вспоминаю, как однажды у него в Париже, на улице Варенн, мы страстно обсуждали природу искусства. Были повторены все определения искусства, начиная с определения, данного Платоном; были изобретены новые, как всегда толковавшие явление в том ограничительном духе, который вызывался различиями темперамента. Фрадик молчал, устремив глаза в пространство. Наконец, медленно (за эту манеру говорить, те, кто знал его мало, называли его профессором), он пробормотал среди почти полного молчания: — «Искусство — это итог, который воображение подводит природе».

И в самом деле, я не знаю более исчерпывающего определения искусства! Прав был один наш приятель, одаренный великолепной фантазией, когда он говорил: «Если бы господь бог, сжалившись в один прекрасный день над нашими сомнениями, бросил нам свыше, из своей божественной пустыни, окончательное объяснение искусства, мы услышали бы из облаков гордо-звучащее, как шум сотни катящихся боевых колесниц, определение Фрадика!»

Выдающийся ум Фрадика опирался на солидные и богатые познания. Уже сама по себе его научная подготовка была очень серьезна. Помимо основательного знания классических языков, благодаря которому он в возрасте показной поэзии и литературы мог написать на варварской латыни такие прекрасные небольшие поэмы, как *Laus Veneris tenebrosae*¹⁾, он отлично владел

¹⁾ «Хвала Темной Венере».

нареканиями трех великих мыслящих народов, французским, английским и немецким. Он знал также арабский язык, и, как уверял меня Риаз-Эффенди, летописец султана Абдул-Азиза, он изъяснялся на нем непринужденно и красиво.

Естественные науки были ему милы и близки; неутолимый и благоговейный интерес к Вселенной побуждал его изучать все то, из чего она божественным образом складывается, начиная с насекомых и кончая звездами. Он изучал ее любовно, всем сердцем: Фрадик испытывал к Природе, в особенности к животным и растениям, поистине буддийскую нежность. «Я люблю Природу, — писал он мне в 1882 году, — ради неё самой, в её совокупности и во всех её индивидуальных проявлениях, в прелести и уродстве каждой из бесчисленных отдельных форм, которые её наполняют: я люблю её ещё, как осязаемое и многообразное проявление высшего Единства, неосязаемой Реальности, которой каждая Религия и каждая философская система дали особое имя, и которой я воздаю культ под именем Жизни. Словом, я обожаю Жизнь, которую равным образом выражают роза и язва, созвездие и (с ужасом должен признаться) — советник Акасио¹⁾. Я обожаю Жизнь и, следовательно, обожаю всё — потому что всё есть жизнь, даже умирание. Труп, окоченевший в своем гробу, так же живет, как орел, быстро несущийся в высоту. И моя религия заключается вся в символе веры св. Афанасия, с маленьким изменением: «Верую в Жизнь, Вседержительницу, сотворившую небо и землю...»

Но в то время, когда началась наша близкая дружба, в 1880 году, его беспокойный ум охотнее всего погружался в социальные науки, главным образом, в те, что относятся к доисторическим периодам, — в антропологию, лингвистику, мифологию, в науки о расах, и о первобытных установлениях. Почти каждые три месяца груды книг, присланных от Ашетта²⁾, толстые слои

¹⁾ Одно из главных действующих лиц романа Эсы «Кузен Базилио», тип ограниченного и самодовольного бюрократа, имя которого стало нарицательным.

²⁾ Парижский издатель.

специальных журналов, покрывавшие караманские ковры, говорили мне, что какой-то новый интерес, сильный и страстный, овладел им. Так, на моих глазах он с воодушевлением занимался металитическими¹⁾ памятниками Андалузии; озерными постройками; мифологией арийских народов; халдейской религией; расами Полинезии; обычным правом кафров; христианизацией языческих богов... Эти упорные изыскания продолжались до тех пор, пока они могли «волновать его, или же привлекать его ум своей новизной». Наконец, в один прекрасный день, журналы и книги исчезали, и Фрадик, торжественно расхаживая широкими шагами по очищенному ковру провозглашал: «Я испил до дна весь Сабизм²⁾!», или «Я исчерпал Полинезийцев!»

Наука, которой он постоянно и с особенным рвением занимался, была История. «С малых лет, — писал он Оливьере-Мартиншу в одном из своих последних писем, в 1886 году, — я страстно любил Историю. И догадываетесь, почему, о Историк? Потому что она внушала мне приятное и успокаивающее сознание людской солидарности. Когда мне минуло одиннадцать лет, бабушка вдруг положила конец сонным урокам отца Нунеша, чтобы (как она выражалась) приучить меня к тягостям жизни, и послала меня в школу, именовавшуюся школой Терсэйры. Садовник вел меня за руку; и каждый день бабушка торжественно вручала мне патак³⁾ на покупку у тётки Марты, кондитерши с перекрестка, пирожных для завтрака. Этот слуга, этот патак, эти пирожные, все эти новые порядки уязвляли мою чудовищную гордость единственного сына богатого дворянина, низводя меня на скромный уровень сыновей нашего поверенного. И вот однажды, перелистывая какую-то иллюстрированную Энциклопедию Римских Древностей, я с

¹⁾ Доисторические сооружения из больших каменных глыб, как «менгиры», «дольмены».

²⁾ Сабизм — или Псевдо-Сабизм, религиозная секта в Месопотамии, окрашенная в неоплатонизм и христианство. О ней русским ученым Д. Хвольсоном написана книга «*Ssabier und der Ssabismus*» (1856).

³⁾ Патак — старинная португальская медная монета в 40 рейс — 8 копеек.

удивлением прочёл, что в Риме (в великом Риме!) мальчики тоже по утрам ходили в школу, и их также, как меня, за руку вёл раб, именовавшийся капсарием; они также покупали пирожное у какой-нибудь тётки Марты с Велабра или с Карин¹⁾, и с'едали его за завтраком, называвшимся *Ientaculum*. И вот, дорогой мой, в этот самый момент почтенная древность этих обычаев лишила их всей вульгарности, которая казалась мне такой унижительной! Раньше я ненавидел их за то, что они сближали меня с сыновьями поверенного Силвы, а теперь я стал уважать их за то, что они сближали меня с сыновьями Сципиона. Покупка пирожного обратилась для меня в некий обряд, совершаемый издревле всеми школьниками, и мне было дано свершать его, в знак почётной солидарности с великими тогоносцами. Конечно, я не отдавал себе в этом вполне ясного отчета. Но с тех пор я всегда входил в лавку тётки Марты, высоко поднимая голову и думая с героическим тщеславием: «Так поступали и римляне!» В то время я был немного выше готского меча и был влюблен в толстую женщину, жившую в конце улицы...

В том же письме Фрадик добавлял: — «К Истории меня действительно привела любовь к Единству, — любовь, слагающаяся из отвращения к перерывам, к пропускам, к темным пространствам, относительно которых ничего неизвестно. Я путешествовал, где только можно было путешествовать, перечёл все книги об экспедициях и странствованиях, так как меня, обитателя земного шара, возмущала мысль, что я не знаю его, вплоть до его крайних пределов, и не чувствую связи между попираемыми моими ногами куском земли и всей остальной землей, которая изгибается там вдаль. И вот я неустанно изучаю Историю, желая исчерпать знание о человечестве, к которому принадлежу, и ощущать тесную солидарность моего существа со всеми людьми, что жили раньше меня. Вы, может быть, пробормочете с презрением: «Простое

¹⁾ Велабр и Карины — кварталы в Риме, первый у подножья Авентинского холма, второй — составлявший крайний выступ Эсквилинского.

любопытство!» Друг мой, не презирайте любопытства! Это сила, движущая человека, сила неизмеримая, которая, как и все силы, колеблется между жалким и великолепным. С одной стороны, она ведет к подслушиванию у дверей, а с другой — приводит к открытию Америки!»

Исторические познания Фрадика действительно поражали своей полнотой и детальностью. Один из наших друзей воскликнул как-то с той приятной иронией, которая у людей кельтской расы подчеркивает и уравнивает проявления восторга: «Ах, этот Фрадик! Он вынимает портсигар и дает глубокий, прозрачный, как хрусталь, синтез Пелопонесской войны; — затем закуривает сигару и излагает фасон застежки пояса Леонида и металл, из которого она была сделана!» В самом деле, его поразительная способность к философскому осознанию общественных движений, его тонкое умение психологически воскрешать индивидуальные характеры — соединялись в нем с точным до мелочей знанием археологии, жизни, быта, одежды, оружия, празднеств, обрядов всех времен, начиная с Ведической¹⁾ Индии и кончая Императорской Францией. Его письма к Оливьере-Мартиншу (о себастианизме²⁾), о нашей восточной империи³⁾), о маркизе Помбале⁴⁾*) воистину поражают тонкой интуицией, силой синтеза, уверенностью автора в своих познаниях, и мощностью и богатством новых мыслей. А с другой стороны, его археологическая эрудиция неоднократно помогала и многое разъяснила кропотливому и тонкому

¹⁾ Веды — древнейшие религиозные гимны Индии.

²⁾ Король дон Себастьян погиб в сражении при Алкасер-Кебуре в Марокко в 1578 году, за два года до падения независимости Португалии. Гибель короля и его войска является поворотным пунктом в империалистической политике Португалии.

³⁾ Речь идет о колониальной империи, основанной португальцами в Индии в начале XVI века.

⁴⁾ Маркиз Помбал — португальский министр второй половины XVIII века, осуществивший много благотворительных реформ в стране (1692—1782).

*) Эти письма являются настоящими историческими исследованиями, которые, по своим размерам, не могли войти в настоящий сборник. Когда они будут объединены с разбросанными по разным местам заметками и отрывками, они составят том, которому редактор, думается мне, даст заглавие Стихи и Проза Фрадика-Мендеша (прим. Эсы).

восстановителю привычек и обычаев классической древности, старику Суме-Рабеме, в его работе живописца-ученого. В этом сознался мне сам Сума-Рабема, однажды вечером, поливая розы в своем саду в Челси¹⁾).

К тому же Фрадику помогала удивительная память, которая всё воспринимала и всё сохраняла, — просторный и светлый склад фактов, сведений, форм, хорошо расставленных, хорошо классифицированных, всегда готовых для употребления. Наш друг Шамбрэ утверждал, что в смысле «устройства, порядка и превосходного качества товара» только погреб Английского кафэ можно было бы приравнять к памяти Фрадика.

Образованность Фрадика постоянно находила новую пищу и новые приобретения в путешествиях, которые он беспрестанно предпринимал, увлеченный каким-нибудь восторженным порывом или потребностью своего ума. Одна только любовь к археологии четыре раза привела его на Восток. Впрочем, по словам консула Ракколини, его последнее восемнадцатимесячное пребывание в Иерусалиме было вызвано поэтическим романом с одной из самых великолепных женщин Сирии, дочерью богатейшего банкира из Алеппо, Авраама Коппо, погибшей впоследствии такой ужасной смертью у печальных берегов Кипра при кораблекрушении Магнолии. Его полная приключений и опасностей экспедиция по Китаю, от Тибета (где он едва не лишился жизни за смелую попытку проникнуть в священную Лхассу), до верхней Манджурии дала материал для непревзойденного еще европейцем исследования обычаев, образа правления, нравственных воззрений и литературы этого народа, «самого глубокомысленного из всех народов, сумевшего, — как говорит Фрадик, — открыть те три или четыре единственных моральных принципа, которые способны, с абсолютной силой, увековечить целую цивилизацию.»

Изучая Россию и ее социальные и религиозные движения, он долгие месяцы прожил в земледельческих губерниях, расположенных между Днепром и Волгой. Насыщенное желание выяснить правду о сибирских ка-

¹⁾ Челси — квартал в Лондоне.

торжных тюрьмах заставило его пуститься в тяжелый путь по степным дорогам, среди снегов, и проехать в простой телеге сотни миль до Нерчинских серебряных рудников. И он продолжал бы свои обследования, если бы, прибыв к морю, в Архангельск, не получил вдруг следующего сообщения от генерала Арманкова, начальника четвертого отделения императорской полиции: «Monsieur, vous nous observez de trop près, pour que votre jugement ne soit faussé; je vous invite donc, sur votre intérêt, et pour avoir de la Russie une vue d'ensemble plus exacte, d'aller la regarder de plus loin, dans votre belle maison de Paris¹⁾!» — Фрадик поспешил уехать в Вазу, на Ботническом заливе. Оттуда он переправился в Швецию и написал не датированное письмо генералу Арманкову: — «Monsieur, j'ai reçu votre invitation où il y a beaucoup d'intolérance et trois fautes de français²⁾».

Те же потребности мысли или «настойчивое желание выяснить правду» привели его в Южную Америку, которую он изъездил от Амазонки до песков Патагонии, привели его в Южную Африку, которую он изъездил от Мыса Доброй Надежды до гор Зокунга... «Я перелистал и внимательно прочел мир, как книгу, полную мыслей. Чтобы посмотреть на внешность, ради простого зрительного удовольствия, я только однажды с'ездил в Марокко.»

Его путешествия были так поучительны, благодаря его способности быстро и любовно сближаться с людьми разных национальностей. Он не приезжал в страну, как то делают противные французские туристы, чтобы свысока и нелепо отмечать «недостатки», — то-есть отличия от того посредственного и общераспространенного типа цивилизации, к которому они принадлежат, и который они сами предпочитают. Фрадик сразу же начал чувствовать симпатию к обычаям, идеям, предрас-

¹⁾ «Милостивый Государь, Вы наблюдаете нас на слишком близком расстоянии, и Ваши суждения не могут не оказаться ошибочными; я предлагаю Вам поэтому, в Ваших же интересах, а также, чтобы получить более точное общее представление о России, отправиться изучать ее издали, из Вашего прекрасного особняка в Париже».

²⁾ «Милостивый Государь, я получил Ваше предложение, в котором много нетерпимости и три грамматических ошибки».

судкам окружавших его людей; и сливаясь с ними в их образе мысли и способности чувствовать, он воспринимал прямой и жизненный урок от всякого общественного класса, в который он проникал. Он с наслаждением осуществлял многозначительный принцип: «В Риме будь римлянином», не только в Риме, среди виноградников Целиева Холма и около журчащих вод Павлинского источника, где так легко соблюдать его, но и взбираясь в рваных сапогах по крутым дорогам Гималайских ущелий. И он оставался самим собой и на своем месте в философической немецкой пивной, углубляя Абсолют в обществе тюрингенских профессоров, равно как на африканской стоянке в земле матабелей, сравнивая преимущества карабина «Экспресс» перед карабином «Винчестер», в кругу охотников на слонов.

Начиная с 1880 года он мало-по-малу стал ограничивать круг своих поездок и делить время между Парижем и Лондоном, если не считать «сыновних посещений» Португалии: ведь несмотря на то, что он изъездил весь свет и с такой легкостью национализировался в чужих краях, и несмотря на свою критическую об'ективность, Фрадик всегда оставался чистой воды Португальцем, с неизгладимыми чертами Асорского дворянина.

Он всегда отдавал свои самые чистые и задушевные помыслы португальцам и португальской жизни. Он купил виллу Сарагоссу в Синтре для того, чтобы (как он выражается с непривычным волнением в письме к Ф. Ж.) «владеть землей в Португалии, и чтобы связать себя крепкими узами собственности с благородной почвой, которую некогда покинули его предки, искатели новых миров, бессознательно увлекаемые бурным потоком великих идей; от них он унаследовал кровь и жажду познать тайну потустороннего!»

Всякий раз, когда он приезжал в Португалию, он «вливал новую жизнь в свои жилы», медленно, верхом, об'езжая какую-нибудь провинцию и останавливаясь в дряхлых городах, которые вызывали в нем восхищение: бес-

конечные разговоры у деревенских очагов, шумное бранение на площадях и в харчевнях и веселые паломничества в запряженной волами телеге, в древней и почтенной сабинской телеге, под ситцевым навесом, разукрашенным лавровыми ветвями. Больше всего он любил Рибатэжо¹⁾, с его равнинами и лугами, на которых пасутся волы. «Там, — говорит он, — верхом на жеребце, в куртке и опоясанный широким поясом, держа в руке пастуший шест²⁾, я скачу среди стад и, вдыхая свежий и чистый утренний воздух, больше чем где бы то ни было, испытываю радость жизни.»

Лисабон нравился ему только, как пейзаж. «Если основательно подправить Лисабон в трех местах, — писал он мне в 1881 году из Отеля Браганса, — посадить рощицы пиний на голых пригорках того берега³⁾; покрыть грязные фасады домов блестящими и веселыми азулэжо⁴⁾; начисто вымести эти богоспасаемые улицы, — он стал бы одним из произведений Природы, созданных Человеком, о которых грезят, которые вдохновляют искусство и влекут к себе паломников. Но пустить корни в Лисабоне, это мне кажется нестерпимым. Здесь не достаёт умственной атмосферы, в которой душа могла бы дышать свободно. Кроме того, в Лисабоне преобладают несколько особенностей, поразительно отталкивающих. Это город литературствующих, фадистов⁵⁾, пшнотов и советников⁶⁾. Есть литературничание даже в манере прикащика отпускать вам метр ленты; в любезной хозяйке дома просвечивает фадистка; в самом искусстве царят советники; и вы найдёте вкусы пшнотов даже на кладбищах. Но отвратительнее всего, друг мой, политиканство и политиканствующие.

Политические деятели внушали Фрадику ужас, иног-

¹⁾ Рибатэжо — местности, расположенные по берегам Тэжо.

²⁾ Португальские пастухи, пасущие стада быков и т. д. ездят верхом и погоняют скот длинным шестом.

³⁾ Пригороды Лисабона, расположенные на левом берегу реки Тэжо.

⁴⁾ Азулэжо, исп. азулехос, — цветные (синие) изразцы, которыми выложены фасады домов в Лисабоне и других городах.

⁵⁾ Фадисты — слово соответствующее русскому «хулиган», французскому «апах».

⁶⁾ См. примечание 1 на стр. 73.

да без малейшего основания. Они устрашали его мысль, так как он считал их необразованными, грубыми, совершенно неспособными творить или воспринимать идеи. Они устрашали его, как светского человека, так как он наперед считал их людьми недалекими, с дурными манерами, неспособными жить в обществе тонко чувствующих людей. Они внушали ему физическое отвращение, так как он воображал, что они никогда не моются, редко меняют носки, и что это они распространяют тот душный и затхлый запах, который вызывает чувство тошноты в непривычных посетителях Сан-Бенто¹⁾, не бывающих там по долгу службы.

В этих неумолимых суждениях, конечно, была тень правды. Но в общем мнения Фрадика о политике носили печать догматизирующей предвзятости, а не были плодом спокойного наблюдения. Я старался убедить его в этом в одно прекрасное утро в отеле Браганса, доказывая, что все эти духовные и культурные недостатки, отсутствие хороших манер, хорошего вкуса и изысканности, с такой едкостью отмеченные им у государственных мужей, в достаточной мере объясняются стремительной демократизацией нашего общества; пошлой вульгарностью провинциальной жизни; пагубным влиянием университета; и даже некоторыми внутренними причинами, по существу своему делающими честь этим несчастным политическим деятелям, которых мстящий рок сделал орудием гибели нашего отечества.

Фрадик ответил просто:

— Если бы дохлая крыса сказала мне: — «Я плохо пахну потому-то да потому-то, а главным образом потому, что разлагаюсь», — я, несмотря на это, всё-таки приказал бы вымести её вон из моей комнаты.

В этом была инстинктивная антипатия, чисто физиологическое явление, непримиримая и упорная, и ее не могли побороть ни факты, ни рассуждения. Гораздо более обоснованным был ужас, который в общественной жизни Лисабона ему внушало неумелое, неуместное и нелепое

¹⁾ На площади Сан-Бенто находится здание португальской Палаты Депутатов.

²⁾ Кайрош, Фрадик Мендеш.

подражание Парижу. Это «мужицкое обезьяничание», блестяще изобличенное им в 1885 году в письме, на мое имя, где он дает остроумное определение Лисабона, как «города, переведенного с французского языка на лисабонский жаргон», — превращалось для Фрадика в настоящую пытку, лишь только он выходил из вокзала Святой Аполлонии¹⁾. И с этого момента его постоянной заботой было обнаружить за пустяшным подражанием Франции какие-нибудь остатки настоящей Португалии.

Уже кухня причиняла ему истинные страдания. Он ежеминутно жалуется в письмах и разговорах на невозможность получить «национальное блюдо!» — «Где, — восклицает он, — почтенные кушания португальской Португалии, гусь с макаронами 18-го века, тяжелые и божественные битки времен великих открытий²⁾ или эти восхитительные цыплячи потроха, излюбленное лакомство дон-Жуана IV³⁾, поразительную весть о котором привезли в Лондон английские лорды, приехавшие в Португалию за невестой Карла II? Всё искажено! Тот же безвкусный провинциализм перелагает на жаргон комедии Лабиша⁴⁾ и лакомства Гуффрэ. И мы жалким образом питаемся демократическими обедками бульвара, подогретыми и подаваемыми с прибаутками или галантином! Поразительное несчастье! Самые восхитительные вещи в Португалии, свиной окорок, лафонская⁵⁾ телятина, овощи, сладости, вина — всё это пришло в упадок, всё это стало безвкусным... С каких пор? По словам стариков, они пришли в упадок со времени Конституционализма и Парламентаризма⁶⁾. С тех пор как сделаны прививки старому лузитанскому столу, плоды его потеряли свой вкус, как люди потеряли характер...»

Только однажды я видел его вполне удовлетворенным в отношении этой важной отрасли жизни. Я привел его

в таверну Мавританского квартала¹⁾; он сидел перед глубокой тарелкой со сложным блюдом из трески, перца и гороха. Чтобы наслаждаться им методично, Фрадик даже снял сюртук. Когда мы принялись за несравненный деликатес, и один из нас произнес имя Ренана, Фрадик возбужденно запротестовал:

— Никаких идей! Позвольте мне насладиться этой треской в совершенной духовной невинности, как во времена дон-Жуана V²⁾, когда еще не существовали демократия и критика!

Тоска по старой Португалии не покидала его; и он полагал, что мир потерпел ущерб, лишившись этого типа высоко-оригинальной цивилизации. Его любовь к прошлому, — странное дело, — оживала в нем, когда он видел в Лисабоне оригинальное воспроизведение роскоши и умного «модернизма», присущих цивилизации, более пропитанной культурой и одаренной более совершенным вкусом. В последний раз я встретился с ним в Лисабоне на Рато³⁾, на празднике, отличавшемся редким и тонким блеском. Фрадик, казалось, был в отчаянии:

— В Париже, — утверждал он, — герцогиня де-ла-Рошфуко-Бизачча может дать такой же праздник: стоило мне ради этого проделать карантин в Марване⁴⁾! Но предположите, что я попал бы здесь на вечеринку времен королевы доны Марии I⁵⁾, в доме Мариалва, с сидящими на цыновках дамами, с монахами, играющими на мандолине негритянские танцы, судьями, просящими о теме для стихотворения⁶⁾, и лакеями, во дворе, среди толпы нищих, поющими хором литанию!.. Вот ради этого несравненного, восхитительного зрелища стоило бы пропутешествовать из Парижа в Лисабон на носилках!

Однажды мы обедали у Карлоша Майёра, и Фрадик с

¹⁾ Вокзал в Лисабоне, для поездов, приходящих из Испании.

²⁾ То-есть XV и XVI век.

³⁾ 1640—1656 г.

⁴⁾ Лабиш — автор французских водевилей (1815—1888).

⁵⁾ Лафойнш — местечко в провинции Байра.

⁶⁾ Конституционная эпоха началась в Португалии в 20-х годах XIX века.

¹⁾ Старейший квартал Лисабона с крепостью Святого Георгия.

²⁾ 1707—1750 г.

³⁾ Рато — площадь в Лисабоне.

⁴⁾ Марван — пограничная португальская станция на железной дороге Мадрид—Лисабон.

⁵⁾ 1777—1789 г.

⁶⁾ Стихотворения, развивающие тему заданную, в виде одного стиха, называются глоссами.

меланхолической искренностью оплакивал старую Португалию, Португалию фидалго и монахов времен дон Жуана V; Рамальо-Ортиган не выдержал:

— Фрадик, вы чудовище! Вы хотели бы жить в комфортабельном Париже середины XIX века и приезжать, когда вам захочется, в Португалию XVIII века, которая была бы в двух днях пути от вас, и здесь, как в музее, наслаждаться живописной стариной... Вы — там, у себя на улице Варенн, на лоне приличия и порядка. А мы — здесь, в смердящих переулках, обливаемые по вечерам помоями, оглушаемые озорническими выходками маркиза Кашкайш или графа Авэйраш, подталкиваемые тумакми сыщиков в подземную темницу, и так далее, и так далее... Сознайтесь, что это именно то, что вам нужно!

Фрадик спокойно ответил:

— Было бы более достойным нас и более патристичным, если бы, вместо литераторов, сдавленных галстуками и идеями, принятыми во всей Европе, я застал бы вас здесь в париках с косичками и с сапфическими одами в карманах старых шелковых камзолов; если бы ежась от спасительного страха перед Королем и Чертом, вы разгуливали по двору дома Мариадва или Авэйро, дожидаясь того момента, когда, прочтя послеобеденную молитву, господá пришлют вам сверху негритенка с остатками индюшки и темой для стихотворения. Всё это было бы достойно Португалии и было бы искренне; вы не заслуживали бы ничего лучшего; а жизнь невозможна без крошки живописного после завтрака.

И действительно, в этой тоске Фрадика по старой Португалии была любовь к «живописному», странная любовь в таком субъективном и живущем умственной жизнью человеке; но в нем преобладала ненависть к всеобщей модернизации, которая сводит все обычаи, верования, идеи, вкусы, моды, самые прирожденные и наиболее оригинально-самобытные, к единообразному типу (представленному утилитарным и серьезным господином в темном пальто), — с той же монотонностью, с какой китаец подрезает все деревья сада, придавая им единую освященную форму пирамиды или погребальной урны.

Поэтому Фрадик больше всего любил в Португалии народ, народ не изменившийся, подобно тому, как не меняется окружающая его природа, которая сообщает ему свою серьезность и свою нежность. Он любил народ за его качества и за недостатки; за медлительное терпение покорного вола; за идиллическую веселость, делающую его труд поэтическим; за его ласкающую, чисто натуралистическую нежность; за его языческий католицизм, за преданную любовь к латинским богам, превратившимся в угодников из святцев; за его одежду, за его песни... «Он любил народ, — по его собственному признанию, — за его язык, такой грубый и бедный, но единственный язык в Португалии, где не слышится назойливое влияние Ламартина или себент публичного права».

VI.

Разговор на площади Рато, когда Фрадик с тоской вспоминал о благочестивых и жеманных вечеринках XVIII века, относится к его последнему приезду в Лисабон. Поэту «Lapidarias» в то время было пятьдесят лет; и с каждым днем он все больше привязывался к нежному спокойствию своих парижских привычек.

С 1880 года Фрадик занимал на улице Варенн флигель старинного палаццо герцогов Треденн, обставленный им с благородной и строгой роскошью; он всегда ненавидел нагромождение вещей и материй, в котором сплетаются и неразрешимо противоречат друг другу стили и столетия, и которое под варварским прозвищем брик-а-брак обладает такой притягательной силой для финансистов и кокоток. Благородные и пышные гобелены, изображающие пейзажи или исторические сцены; просторные диваны от Обюссона; художественная мебель французского Ренессанса; редкий фарфор от Делфта и из Китая; простор, свет, гармоничное сочетание целомудренных тонов — вот что вы находили в пяти комнатах, составлявших «логовище» Фрадика. Все балконы, с резными железными решетками, времен Людовика XIV, открывались на

один из тех заросших старыми деревьями садилов, которые в этом клерикально-дворянском квартале являются уголками лесного спокойствия и уединения, где иногда майским вечером решается запеть соловей.

Жизнь Фрадика регулировалась старинными часами, медленному и почти строгому бою которых предшествовала серебристая мелодия старого придворного танца; о ее непоколебимой точности заботился слуга Фрадика Смес, пожилой шотландец из клана Макдеффов, с совершенно белой головой и еще розовой кожей; он в течение тридцати лет со строгим усердием сопровождал своего господина на его жизненном пути по белу свету.

Утром, в девять часов, едва только в воздухе разносились очаровательно-меланхолические звуки забытого мэнзета Чимарозы или Гайдна, Смес врывался в спальню Фрадика, раскрывал настежь окна и восклицал: «Morning, Sir!»¹⁾ — И тотчас же Фрадик стремительно соскакивал с постели (это он считал трансцендентально-гигиеничным), и бежал к громадному мраморному умывальнику обливать лицо и голову холодной водой, испытывая при этом наслаждение счастливого Тритона. Затем, накинув один из тех шелковых халатов, которые приводили меня в такое восхищение, он располагался в кресле и отдавал себя заботам Смиса; как парикмахер, последний, по словам Фрадика, соединял проворность и мягкость Фигаро с мудростью старика Оливье, наперсника Людовика XI²⁾. И в самом деле, в то время как он мылил и брил Фрадика, Смес давал ему ясное, солидное, чисто-фактическое резюме политических телеграмм из Times'a, Standart'a и Кельнской Газеты.

Я всегда испытывал чувство неожиданной радости, когда Смес, в коротком фраке, с белым галстуком à la Пальмерстон, в клетчатых, черных с зеленым, штанах (цвета его клана), в лакированных ботинках с вырезом, проводил кисточкой по подбородку своего господина и бормотал с полной осведомленностью и полным сознанием своего долга: «Совещание князя Бисмарка с графом Кал-

¹⁾ «Доброе утро».

²⁾ Людовик XI, король французский (1461—1483 г.); Оливье — его дирижёр.

ноцким не состоится... Консерваторы потерпели поражение на дополнительных выборах в Йорке... Вчера в Вене поговаривали о новом русском займе...» Лисабонские приятели подсмеивались над этим «балаганом»; но Фрадик находил в нем полезное возвращение к классической традиции, которая во всем латинском мире со времен Сципиона Африканского установила брадобреев в роли «всеобщих осведомителей общественной жизни». Эти короткие сводки Смиса составляли основу сведений Фрадика о политике: и он никогда не говорил: «Я прочел в Times'e», а «Я прочел в Смисе».

Чисто выбритый, хорошо осведомленный, Фрадик погружался в теплую ванну, из которой возвращался в крепкие объятия Смиса; набором шерстяных, фланелевых, волосных перчаток, перчаток из пакли и из тигровой кожи, Смес натирал его тело, пока оно не становилось, как тело Аполлона, «розовым и блестящим». Тогда Фрадик пил шоколад; и затем удалялся в библиотеку, серьезную и простую комнату, где статуя Истины, ослепительно белая в своей мраморной наготе, касалась тонким пальцем непорочных уст, символизируя, около большого стола черного дерева, интимную работу в поисках истин, не созданных для мирского шума.

В час дня он завтракал, с неприязнательностью эллина, яйцами и овощами; а затем, растянувшись на диване и медленно попивая русский чай, пробегал в газетах и журналах хронику литературную, театральную и светскую, которая не входила в политическую компетенцию Смиса. Он внимательно читал также португальские газеты, названные им где-то «шутовским продуктом общественного разложения», газеты всегда характерные, и чрезвычайно интересные для человека, который, как Фрадик, находил удовольствие в анализе «неподдельного и искреннего творчества посредственностей», и он считал Калино¹⁾ столь же достойным изучения, как Вольтера. Он посвящал остаток дня друзьям, визитам, художественным ателье, фехтовальным залам, выставкам, клубам, всем тем

¹⁾ Калино — персонаж из французского водевиля: недалекий молодой человек.

разнообразным занятиям, которые создает себе человек хорошего вкуса, живущий в высоко-цивилизованном городе.

Под вечер он отправлялся в Булонский Лес, сам правя своим фаэтоном, или верхом на Саба, великолепной кобыле из табунов Айн-Вейба, уступленной ему Моссульским¹⁾ эмиром. Вечером, если это не был абонементный день в Опере или во Французской Комедии, он бывал в каком-нибудь салоне, так как ему необходимо было закончить день среди «эфемерно-женственного». (Так выражался Фрадик.)

Это «женственное» оказало величайшее влияние на его жизнь. Фрадик любил женщин; но, кроме них и превыше всего на свете, он любил Женщину.

Его отношение к женщинам определялось как поклонением человека, живущего духовною жизнью, так и критическим любопытством и темпераментом сангвиника. Подобно сентименталистам Реставрации, Фрадик считал их «организмами» высшего порядка, божественно сложными, всегда различными и более достойными обожания, нежели какое бы то ни было другое произведение Природы; но в то же время, поклоняясь им, он рассекал и изучал эти «божественные организмы» в мельчайших подробностях, беспощадно, из страсти к анализу; и сплошь да рядом критик и энтузиаст исчезали, и на их месте оставался только мужчина, любящий женщину, согласно простому, благому закону природы, как Фавны любили Нимф.

Кроме того, — по крайней мере, в разговорах он развивал эту теорию, — женщины для него разделялись на виды. Существует женщина «внешней жизни», цветок, взрожденный в обстановке роскоши и светской образованности; и существует женщина «внутренней жизни», охраняющая домашний очаг; и каков бы ни был ее блеск, Фрадик неизменно относился к ней с глубоким почтением, не дававшим места никаким экспериментам. «В их присутствии, — пишет он Мадам де-Жуарр, — я чувствую себя, словно перед чужим письмом, которое запечатано сургучом». Но в обществе женщин, живущих «внешнею»,

¹⁾ Моссуль — город в Малой Азии на реке Тигре.

шумною жизнью фантазии, Фрадик чувствовал себя свободным и безответственным, как перед выпущенным из типографии томом. «Перелистывать книгу, — пишет он той же Мадам де-Жуарр, — делать пометки на гладких полях, громко критиковать, следуя своему независимому мнению и полету остроумия, возить ее с собой в карете и читать по вечерам дома, рекомендовать другу, бросить ее в угол, после того, как будут прочитаны лучшие ее страницы, все это, думается мне, разрешено и элементарной моралью и Уложением».

Может быть, эти мудрствования не что иное, как рассуждения человека, подводящего под теорию и идеализирующего свой темперамент ломового извозчика, чтобы придать ему литературный интерес, как едко предполагал один наш приятель? Не знаю. Самым поучительным комментарием к его теориям было его собственное поведение в гостинице, среди «эфемерно-женственного». Есть очень чувственные женщины, которые, слушая волнующего их мужчину, слегка приоткрывают губы. В Фрадики распахивались глаза. У него были маленькие глаза, табачного цвета; но когда он находился рядом с одной из этих внешних женщин, «звезд светскости», они становились огромными, полными черного блеска, бархатистыми, почти влажными. Старая лэди Монгрев сравнивала их с «раскрытым зевом двух змей». Этим он, конечно, желал привлечь, поглотить, но прежде всего это свидетельствовало о чувстве волнения и восторга, которое овладевало им. В этой сосредоточенности верующего перед образом Девы, в теплоте тихого голоса, более мягкой, чем воздух в бане, во влажности зачарованных тонких глаз, женщины видели только всемогущее и победоносное действие своей физической и духовной красоты на одаренного великолепной мужественной силой человека. А ведь нет мужчины опаснее, чем тот, кто всегда вызывает в женщинах ясное, почти осязательное впечатление, что они неотразимы и подчиняют себе самое мятежное сердце одним медленным движением плеч или тихо промолвленным «Какой очаровательный вечер!» Тот, кто делает вид, что его легко покорить, сам легко покоряет других. Это — мудрая и правдивая индийская легенда о заколдованном зеркале, в кото-

ром старая Махарина видела себя ослепительно красивой. Чтобы получить или удержать в своих руках это зеркало, которое придает такой блеск отражению ее морщинистой кожи, каких грехов и каких предательств не совершит Махарина?..

Я думаю, что Фрадика любили проникновенной любовью, и он заслужил ее в полной мере. Женщины находили в нем то редкое среди людей существо, что называется Мужчиной. Для них Фрадик обладал тем неоцененным превосходством, не встречающимся почти ни у кого из людей нашего поколения, — душой чрезвычайно чувствительной, управляющей телом, чрезвычайно сильным.

Большей продолжительностью и силой, чем любовь, отличались дружеские отношения Фрадика к разным людям, которых он привлекал к себе своими превосходными нравственными качествами. Когда я познакомился с ним в Лисабоне, в тот далекий 1867 год, в его характере (как, впрочем, и в его стихах) я почувствовал блестящую, металлическую невозмутимость; и как ни восхищался я его талантом, его личностью, его жизненной силой, его шелковым халатом, я однажды сознался Тэйшэйре-д'Азеведо, что не обнаружил в поэте «Lapidarias» того теплого молока человеческой доброты, без которого старик Шекспир (и я вслед за ним) не понимал, чтобы человек был достоин звания человека. Даже его вежливость, приветливая и безупречная, казалась мне скорее плодом системы, а не прирожденным даром. Такому впечатлению, конечно, содействовало показанное мне кем-то письмо Фрадика, правда уже старое, от 1855 года, со всем легкомысленным выскомерием молодости, где автор излагал такую суровую программу действия: «Люди родились, чтобы работать, женщины, — чтобы плакать, а мы, сильные, для того чтобы бесстрастно проходить мимо!..»

Но в 1880 году, когда наша дружба окрепла за ужином у Виньона, Фрадику было пятьдесят лет: и, потому ли, что я тогда наблюдал его с большей проницательностью и большим вниманием, или потому, что вместе с возрастом

в нем совершилось то явление, которое Фюстан де Карманж впоследствии назвал *le dégel de Fradique*¹⁾, я скоро почувствовал, сквозь присущую мраморной статуе невозмутимость, ваятеля «Lapidarias», как из него бьет обильным и теплым ключом это молоко человеческой доброты.

Меня сразу же поразила в нем, как яркое выражение превосходства, его безусловная и безграничная снисходительность к людям. Либо под влиянием своих философских взглядов, либо повинаясь голосу своей природы, Фрадик, при виде греха или преступления, всегда склонялся в сторону старого евангельского милосердия, которое, в сознании всеобщей хрупкости, спрашивает, где найдется достаточно чистая рука, чтобы бросить первый камень в согрешившего. В основе всякой ошибки, иногда вопреки разуму, но в согласии с тем еще не умолкшим голосом, чей шопот слышался св. Франциску Ассизскому, он видел неизбежную человеческую слабость; и прощение поднималось немедленно из глубины сострадания, таившегося в его душе, как постоянно готовый хлынуть источник чистой воды в плодородной почве.

Но его доброта не ограничивалась этим бездейственным выражением. Всякое несчастье, начиная с горести единичного человека, с которой мы сталкиваемся на улице, вплоть до разлитых широко по миру бедствий, со стихийной силой разрушающих классы и расы, находило в нем ревностного и непритворного защитника. Ему принадлежат следующие благородные слова из письма к Ж. Ф., относящиеся к последним годам его жизни: «Все мы, живущие в этом мире, образуем бесконечный караван, в беспорядке направляющийся к Небытию. Нас окружает природа бессознательная, невозмутимая и, подобно нам, смертная; она нас не понимает, даже не видит нас, и от нее нам нечего ждать помощи или утешения. И в увлекающем нас вихре у нас остается, как руководящая мысль, старинное правило, божественный вывод из всего человеческого опыта: «Помогайте друг другу!» И пусть в беспорядочном шествии, где спутываются шаги бесчис-

¹⁾ «Таяние Фрадика».

ленных людей, каждый из нас уступит половину своего хлеба тому, кто голоден; протянет половину своего плаща тому, кому холодно; подаст руку помощи тому, кто спотыкается; оградит тело упавшего; и если одному из нас, лучше снабженному для пути и более уверенному в себе, понадобится только душевная ласка, пусть души всех раскроются для него, преисполненные ласки... Только таким образом мы придадим хоть сколько-нибудь красоты и достоинства этому беспросветному бегству навстречу смерти».

Конечно, Фрадик не был воинствующим святым, разскаивающим по переулкам неискупленные страдания; но не было такого горя, о котором он бы знал, и которому не принес бы облегчения. Всякий раз, когда ему в газете случалось прочесть о каком-нибудь бедствии или о впавших в нужду людях, он делал пометку карандашом и рядом ставил цифру, указывавшую старому Смису число фунтов, которые тот должен был вручить без огласки, как бы стыдясь своего поступка. Его правило по отношению к бедным (о которых экономисты утверждают, будто им подобает Справедливость, а не Милосердие), — было, «что в обеденный час лучше пятак в руки, чем две философские системы в небе». Дети, в особенности нуждающиеся дети, внушали ему безграничную нежность; и он принадлежал к числу тех, чрезвычайно редких людей, что, встретив на своей дороге в неприветливый зимний день окоченевшего от холода малютку-нищего, останавливаются под дождем, на ветру, терпеливо расстегивают пальто, терпеливо стягивают перчатку, чтобы поискать на дне кармана серебряную монету, которая несет с собою насыщенный хлеб и тепло.

Его милосердие распространялось на всё живое, согласно учению Будды. Я не знавал человека, который более уважал бы животных и их права. Однажды в Париже мы бегом бежали к стоянке фиакров, чтобы спастись от хлынувшего ливня и поспеть как можно скорее на аукцион гобеленов (где Фрадика соблазняли Девять Муз, танцующих в лавровой роще), и мы нашли там только одну каретку, кляча которой меланхолично жевала свой корм в подвешенном к морде мешке. Фрадик настоял на

том, чтобы лошадь спокойно позавтракала и пропустил свои Девять Муз.

В последние годы он был прежде всего озабочен несчастиями классов, так как чувствовал, что в промышленных и материалистически настроенных демократиях, охваченных бешеной и эгоистической борьбой за кусок хлеба, души с каждым днем черствеют и становятся менее доступными милосердию. «Братство, — говорил он в сохранившемся у меня письме от 1886 года, — постепенно исчезает, особенно в этих громадных ульях из камня и известки, где люди упорно хотят жить скученной жизнью и бороться; и среди постоянного вымирания обычаев простой деревенской жизни, мир катится в бездну дикого эгоизма. Первый признак этого эгоизма, это шумное развитее филантропии. Если милосердие становится организованным и твердым установлением, с наказами, докладами, комитетами, сессиями, председателем и колокольчиком, — то это происходит оттого, что человек, не рассчитывая больше на голос своего сердца, чувствует необходимость в общественном принуждении к добру путем предписаний устава. Если сердца так окаменели, а зимы так суровы, что станет с бедными?»

Сколько раз в моем присутствии, в ноябрьские сумерки, сидя в библиотеке, едва освещенной смутным и нежным пламенем камина, Фрадик нарушал молчание и отрывал свой взор, словно погрузившийся в печальные дали, чтобы с возвышенной трогательностью оплакивать все человеческие несчастья! И он с горечью повторял свою мысль, что люди с каждым днем становятся всё жестче, побуждаемые к грубому эгоизму тяжестью борьбы и конкуренции, когда каждый становится все более волком по отношению к ближнему, homo homini lupus.

— О, если бы явился новый Христос! — пробормотал я однажды.

Фрадик пожал плечами.

— Он придет; он, может быть, освободит рабов; за это ему воздвигнут церковь и создадут литургию; а затем от него отрекутся; а еще позже его забудут; и, наконец, появятся новые толпы рабов. Ничего не поделаешь. Каждому остается запастись благоразумно имуществом и ре-

вольвером; и когда ближний постучится к нам в дверь, то, смотря по обстоятельствам, — давать ему кусок хлеба или пускать в него пулю.

Так, исполненные мыслей, тонких развлечений и приятных дел, протекли последние годы Фрадика-Мендеша в Париже, пока, наконец, зимой 1888 года смерть не скосила его, как он, вслед за Цезарем, всегда желал ее — *inopinatum atque repentinam*¹⁾.

Однажды вечером, при разезде от графини де-ла-Фертэ (старой приятельницы Фрадика, с которой он на яхте совершил поездку в Исландию), он обнаружил в прихожей, что кто-то обменял его русскую шубу на другую, тоже роскошную и удобную; но в кармане был бумажник с монограммой и визитными карточками генерала Терранад-Ази. Фрадик, страдавший болезненной брезгливостью, не захотел покрываться одеждой этого ворчливого и вечно простуженного воина, и пешком перешел через площадь Согласия до клуба Rue Royale. Была сухая и ясная ночь, но ее прорезал один из тех легких ветерков, слабее дыхания, которые на протяжении многих миль оттачиваются над снежными равнинами севера, и которые старик Андрэ Вазали сравнивал с «предательским кинжалом». На следующий день Фрадик проснулся с легким кашлем. Но пренебрегая осторожностью и уверенный в своем здоровье, которое выдержало столько немилосердных климатов, он отправился с друзьями в Фонтенбло на имперiale mail-coach. В тот же вечер, возвращаясь домой, он почувствовал длительный и сильный озноб; и тридцать часов спустя, безболезненно и так тихо, что некоторое время Смирис думал, что он заснул, Фрадик, по выражению древних, «кончил жить». Светлый летний день не умирает более нежно.

Доктор Лабер определил его болезнь, как редчайший случай плеврита. И он добавил, с точным пониманием

¹⁾ «Неожиданная и внезапная».

человеческого счастья: «Toujours de la chance, se Fradique!»¹⁾

В его последнем путешествии по улицам Парижа его сопровождали, под серыми снеговыми тучами, некоторые из самых славных представителей французской науки и искусства. Красивые лица, уже поблекшие от времени, оплакали его, вспоминая пережитые волнения сердца. И в бедных жилищах, вокруг потухших очагов, несомненно, тоже пожалели об этом скептике с тонким литературным вкусом, который, запахнувшись в шелковый халат, пекся о человеческих горестях.

Он покоится в Père-Lachaise²⁾, недалеко от могилы Бальзака, на которую в поминальный день он всегда посылал букет пармских фиалок, что при жизни были так дороги автору Человеческой Комедии. И в свою очередь, преданные руки украшают благоуханными розами скромный мрамор, покрывающий его земные останки.

VII.

Ученый моралист, который подписывается Alceste в Gazette de Paris, посвятил Фрадику заметку, где он так определяет его ум и его деятельность: «Поистине самостоятельный и сильный мыслитель; Фрадик-Мендеш не оставляет после себя творческого наследства. По безразличию или по лени, он растратил громадное умственное богатство. От глыбы золота, из которой он мог бы высечь бессмертный памятник, он в течение долгих лет откалывал мелкие осколки, крошки, и щедрой рукой рассыпал их в своих беседах в парижских салонах и клубах. Вся эта золотая пыль потонула в обыденной пыли. И над могилой Фрадика, как над могилой неизвестного эллина, которого воспевают Антология, можно было бы написать: «Здесь покоится шум ветра, который пролетел, распростирая благоухания, тепло и семена, но бесплодно...»

¹⁾ «Всегда везет этому Фрадику».

²⁾ Кладбище в Париже.

Вся эта заметка составлена с обычными для французов поверхностностью и необдуманностью. Нет ничего менее взвешенного, чем термины лень, безразличие, которые часто попадают на этой тщательно отделанной и звучной странице, словно для того, чтобы запечатлеть в нашей памяти характер Фрадика. Напротив, он был человеком страстным, человеком действия и упорной работы. И едва ли может быть обвинен в лени, в безразличии тот, кто, подобно ему, проделал две кампании, проповедывал религию, объехал все пять материков, поглотил столько цивилизаций и приобщился ко всем познаниям своего века.

Но хроникер *Gazette de Paris* делает чрезвычайно верное замечание, утверждая, что от этого ревностного работника не осталось ни одного произведения. Напечатаны и обнародованы, насколько нам известно, только «*Lapidarias*», в Сентябрьской Революции, и любопытная маленькая поэма на варварской латыни, *Laus Veneris Tenebrosae*, появившаяся в *Revue de Poésie et d'Art*, журнале, основанном в конце 1869 года в Париже группой поэтов-символистов. Но Фрадик оставил рукописное наследство. Я много раз видал эти рукописи на улице Варенн на дне испанского сундука, из резного железа, сундука XIV века, который Фрадик называл общей могилой. Все эти бумаги и полное право распоряжаться ими были завещаны Фрадиком той, Любуше, о которой он много говорит в своих письмах к Мадам де Жуарр, и которая встает перед нами, живая и близкая, «в своих белых бархатах Венецианки и со своими большими глазами Юноны».

Эта дама, по имени Варя Лобринская, принадлежала к старому русскому роду князей Палидовых. В 1874 году её муж, Павел Лобринский, молчаливый и ничем не выдающийся дипломат, бывший офицер императорской лейб-гвардии, писавший *capitaine с t, e* (*capitene*), скончался в Париже на исходе осени, еще молодым, от долгого время подтачивавшего его малокровия. Тотчас же после этого мадам Лобринская, окруженная горничными и утопая в траурном крепе, вернулась, торжественно печальная, в свои обширные поместья около Старобельска, в Харьковской губернии. Но весной, когда распустились цветы

на каштанах, она снова была в Париже и здесь осталась, ведя жизнь богатой и беспечальной вдовы. Однажды у мадам де-Жуарр она встретила с Фрадиком, который восхищался в то время славянскими литературами с увлечением занимался самой древней и самой благородной поэмой славян, Любушиным Судом, случайно найденным в 1818 году в архивах Зеленогорского замка. Мадам Лобринская была родственницей владельцев Зеленой Горы, графов Коллоредо, и у нее имелось факсимиле обоих пергаментных листов, содержащих старинную варварскую эпопею.

Они стали читать вдвоем это героическое произведение, пока не наступил сладостный миг, когда, подобно дантовским влюбленным, «они в этот день больше ничего не прочли». Фрадик дал мадам Лобринской имя Любуши, той королевы, что в Суде является «одетая в белое, сверкающая мудростью». Она называла Фрадика Люцифером. Поэт «*Lapidarias*» умер в ноябре; и несколько дней спустя мадам Лобринская снова уехала в свои печальные поместья, около Старобельска, в Харьковской губернии. Ее друзья улыбнулись, дружелюбно пробормотали, что мадам Лобринская бежала оплакивать среди мужиков свое второе вдовство, пока опять не зацветет сирень. Но на этот раз Любуша не вернулась даже к тому времени, когда зацвели каштаны.

Муж мадам Лобринской был дипломатом, который изучал и культивировал, главным образом, меню и котильоны. Вследствие этого его карьера медленно протекала на второстепенных должностях. Шесть лет покоился он, как секретарь, среди деревьев Петрополиса¹⁾, дожидаясь места посланника в Европе, которое, по словам князя Горчакова, бывшего в то время Государственным Канцлером, принадлежало мадам Лобринской *par droit de beauté et de sagesse*²⁾. Но миссия в Европе, в светской столице, без банановых деревьев, не вознаградила их за изгнание, в котором они тосковали по снегу: — и вдали от родины мадам Лобринская так хорошо выучилась нашему нежному

¹⁾ Город в Бразилии, по близости Рио-де-Жанейро, местопребывание дипломатического корпуса и высшего света в течение летнего сезона.

²⁾ «По праву красоты и ума».

7 Кайрош, Фрадик Мендеш.

португальскому языку, что Фрадик показывал мне сделанный ею перевод элегии Лавосского, Холм Разлуки, отличающийся выразительностью и совершенством формы. И действительно, из всех подруг Фрадика, только она одна могла оценить его рукописи, как живые страницы, которым мыслитель вверил свои задушевные мысли, и которые для других были бы только сухими и безжизненными листами бумаги, испещренной непонятными строками.

Лишь только я начал собирать разбросанные письма Фрадика-Мендеша, я сообщил мадам Лобринской о своем намерении запечатлеть в дружеском этюде особенности недюжинного ума и умолил ее сделать для меня извлечения из его рукописей, или, по крайней мере, рассказать что-либо новое о его личности. Ответ мадам Лобринской содержал отказ, определенный и хорошо обоснованный; он показывал, что несомненно под «светлыми очами Юноны» скрывался ясный разум Минервы. «Бумаги Карлоша Фрадика (в этом заключался смысл ее ответа), были вверены ей, удалившейся от светского шума и от живущего и питающегося светскими интересами общества, с той целью, чтобы они навсегда сохранили интимный и тайный характер, который Фрадик в течение стольких лет сообщал им: если бы я при этих условиях рассказала что-либо новое о его личности, то я тем самым заведомо поступила бы наперекор чувству осторожности и гордости, которое продиктовало волю завещателя...» Это было написано крупным и круглым почерком, на большом листе жесткой почтовой бумаги, где в одном углу блистал золотыми буквами под золотой короной девиз: *Per terram ad coelum*¹⁾.

Вот почему над рукописями Фрадика установился мрак. Что заключалось в этом железном сундуке, который Фрадик с безутешною гордостью называл общей могилой, считая бедными и тусклыми для мира мысли, бросаемые на его дно?

Некоторые наши общие друзья думают, что там должны находиться, если и не в законченной форме, то, по край-

¹⁾ «По земле к небу».

ней мере, в набросках, или даже приведенные в систему, два произведения, о которых Фрадик высказывался, как о самых привлекательных темах для мыслителя и художника нашего века — Психология Религий и Теория Воли.

Другие, как Ж. Тэйшэйра-д'Азеведо, полагают, что среди этих бумаг имеется роман, реалистический эпос, воскрешающий угасшую цивилизацию, как Саламбо. Они основывают свое (недоброжелательное) мнение на письме к Оливэйре-Мартиншу, от 1880 года, в котором Фрадик восклицает с загадочной иронией: «Чувствую, дорогой историк, что скольжу по наклонной плоскости к занятиям суетным и преступным! Горе мне, горе мне, перо мое из моих рук устремляется в сторону зла! Какой злокозненный бес, покрытый пылью веков, пришел ко мне, держа под мышкой археологические фолианты, и прошептал (была ночь, суровая зимняя ночь, ночь декоративной эрудиции): «Работай над романом! И в этом романе воскреси азиатскую древность!»? И его слова показались мне сладостными, сладостными, как смерть!.. Что скажете вы, дражайший Оливэйра-Мартинш, если неожиданно получите у своих пенатов сочиненный мною и торжественно отпечатанный том, начинающийся словами: «В Вавилоне, в месяце Сивану, после сбора бальзама...»? Я уже отсюда чувствую, что вы закроете дрожащими руками уstraшенное лицо и пробормочете: «О небо! Сейчас начнется описание храма Семи Сфер со всеми его террасами! И описание галубской битвы, со всем вооружением воинов! и описание банкета у Сеннахериба, со всеми яствами!.. Автор не пропустит вышивки ни одной туники, ни рельефов ни одной вазы! И это — близкий друг!»

Напротив, Рамальо-Ортиган склоняется к мысли, что бумаги Фрадика, — Мемуары, так как только относительно Мемуаров имеет смысл условие сохранять их в тайне.

Что касается до меня, то из лучшего более постоянного знакомства с Фрадиком я вывожу заключение, что он не оставил после себя ни книги по психологии, ни археологической эпопеи, — которая, конечно, показалась бы ему преступным и пустым афишированием живописного и легко приобретенного знания, — ни Мемуаров, непонят-

ных в человеке, всецело находившемся во власти мысли и абстракции и скрывавшем свою жизнь с такой высокомерной осторожностью. И я беру на себя смелость утверждать, что в этом железном сундуке, затерянном в старом русском помещицком доме, нет никакого произведения, потому что Фрадик никогда не был литератором в настоящем смысле этого слова.

Он не стал литератором, конечно, не потому, чтобы был беден мыслями: ему просто не доставало уверенности, что они по своей окончательной ценности заслуживают быть отмеченными и увековеченными: и ему не доставало, помимо этого, спокойствия в творчестве или воли к творчеству, чтобы осуществить ту форму, которую он отвлеченно замыслил, как единственно достойную воплотить его мысли, благодаря ее особенной и редкостной красоте. Недоверчивое чувство к самому себе, как к мыслителю, чьи выводы, обновив философию и науку, придадут человеческому духу неожиданное движение; недоверчивое отношение к себе, как к писателю и творцу Прозы, которая сама по себе, независимо от ценности мысли, могла бы производить на души несказанное действие абсолютно прекрасного — вот те два отрицательных влияния, которые заставили Фрадика ни разу не нарушить молчания и остаться ненапечатанным. Он хотел, чтобы всё, что исходило из его разума, постоянно действовало на мысль людей своей окончательной истинностью или несравненной красотой. Ту же беспощадную и тонкую критику, с которой он относился к другим, он направлял на себя ежедневно, с удвоенной утонченностью и беспощадностью. Живое чувство действительности заставляло его судить собственную мысль такой, какой она была, с ее истинными возможностями и истинными границами, и «угар литературной иллюзии», под влиянием которого всякий литератор принимает за сверкающие лучи света несколько грязных чернильных завитков, лишь только перо коснется бумаги, этот угар не создавал в нем представления о большей силе и большем размахе его мысли. И приди к заключению, что ни в отношении мысли, ни в отношении формы он не подарит человеческого духа новым убедительным словом или новым очарованием, которые поло-

жили бы решающую грань в эволюции разума и хорошего вкуса, он предпочел замкнуться в горделивое молчание. По соображениям, которые своим благородством отличались от соображений Декарта, он следовал правилу, понавившемуся Декарту — *bene vixit qui bene latuit*¹⁾.

Он не сознался мне ни в одном из этих своих чувств; но я отчетливо различил их, когда в один из последних рождественских каникул приехал проводить праздники на улице Варенн у Фрадика, и он принял меня с незаслуженно роскошным гостеприимством. Дело было вечером; большой город за окнами жил шумной жизнью зимнего сезона; после кофе мы уселись около камина и, протянув ноги к пылавшим и потрескивавшим буквым поленьям, разговорились об Африке и об африканских религиях. Фрадик собрал в районе Замбези много ярких и жизненных заметок о туземных культах, которые заключаются в обожествлении скончавшихся вождей: со смертью они становятся Мулунгу, духами, распределяющими добро и зло и обитающими, как божества, в тех же хижинах и на тех же холмах, где они обитали при жизни; сравнивая церемонии и цели этих культов африканских дикарей с первобытными литургическими церемониями арийцев в Септа-Синду²⁾, Фрадик приходил к заключению, как он доказывает в относящемся к этому времени письме к Герре-Жункэйро³⁾, что то, что в религии действительно, существенно, необходимо и вечно, это Церемониал и Литургия, и что то, что в ней искусственно, дополнительно, необязательно, и преходяще, — это Теология и учение о Нравственности.

Все это производило на меня неотразимое впечатление, главным образом, благодаря чертам жизни и африканской природы, которые освещали его рассказ. И, улыбаясь, очарованный:

— Фрадик, почему бы вам не описать всего этого путешествия по Африке?

¹⁾ «Хорошо жил, кто хорошо скрывался».

²⁾ Семиречье, область на Памирском плоскогории, легендарная родина арийских народов.

³⁾ См. прим. 2 на стр. 58.

Я впервые подавал другу мысль написать книгу. Он поднял на меня глаза с таким испугом, словно я предложил ему пройтись босиком этой бурной ночью до леса Марли. Затем, бросив папиросу в огонь, он медленно и меланхолично пробормотал:

— К чему это?.. Я не видал в Африке ничего такого, чего бы раньше меня не видели другие.

А когда я заметил, что он взглянул на всё, может быть, другими, более проницательными глазами; что не каждый же день по Африке путешествует человек, получивший философское образование и пропитанный эрудицией; и что в науке одна истина требует тысячи исследователей, — Фрадик ответил почти с нетерпением:

— Нет! У меня ни насчет Африки, ни насчет чего бы то ни было другого в этом свете, нет таких выводов, которые изменили бы течение современной мысли и стоили бы быть отмеченными... Я мог бы только сообщить ряд впечатлений, пейзажей. И это еще хуже! Потому что человеческое слово, в том виде, как мы им владеем, еще бессильно воплотить малейшее умственное впечатление или воспроизвести простые очертания кустика... Я не умею писать! Никто не умеет писать!

Я запротестовал, смеясь, против этого безусловного общения, которое всё сметало, без всякой пощады. И я напомнил ему, что в нескольких шагах от гревшего нас камина, в этом старом парижском квартале, где возвышаются Сорбонна, Французский Институт и Нормальная Школа¹⁾, жило и еще живет много людей, которые в совершенстве обладали «прекрасным искусством слова».

— Кто же это? — воскликнул Фрадик.

Я начал с Боссюэ. Фрадик пожал плечами с ярко выраженным непочтением, которое заставило меня замолчать. И тут же заявил, тоном, не допускающим возражений, что на протяжении двух лучших веков французской литературы, начиная с моего Боссюэ и кончая Бомарше, ни один прозаик не имел в его глазах ни рельефности, ни красочности, ни силы, ни жизни... И из современных писателей никто не удовлетворял его. Громогласная

¹⁾ Педагогический Институт при Сорбонне.

растянутость Гюго также невыносима, как маслянистая мягкотелость Ламартина. Мишле недостает серьезности и равновесия; Ренану основательности и нервной силы; Тэну текучести и прозрачности; Флоберу жизненной дрожи и тепла. У бедного Бальзака — беспорядочное и варварское богатство фантазии. А утонченность Гонкуров и их мира казалась ему совершенно неприличной...

Ошеломленный этими признаниями, я, смеясь, спросил у этого «свиногого в своей неудовлетворенности» человека, какую же прозу он имеет в виду, прозу идеальную и чудесную, которая была бы достойна быть написанной. И взволнованный Фрадик (так как вопросы формы нарушали его безмятежное спокойствие) пробормотал, что в прозе он ищет «что-то хрустальное, бархатистое, волнующееся, мраморное, что само по себе, пластически, осуществит идеал абсолютной красоты, и, как выразительное слово, в состоянии всё воспроизвести, начиная с самых неуловимых тонов света и кончая самыми тонкими состояниями души...»

— Словом, — воскликнул я, — неосуществимая проза!

— Нет! — закричал Фрадик, — такая проза, какой еще нет!

И затем он добавил, в виде пояснения:

— И так как она еще не существует, то не к чему писать. Мы можем создавать только формы, лишённые красоты: а они вмещают только половину того, что мы хотели бы выразить, потому что остальная половина не может быть сведена к слову.

Во всем этом было много надуманного и ребяческого, но в то же время обнаруживалось чувство, которое заставляло хранить молчание этого незаурядного человека, охваченного возвышенным честолюбивым стремлением создавать только абсолютные истины при помощи форм абсолютно прекрасных.

Поэтому, а не по лени южанина, как намекает Альцест, Фрадик прошел по миру, не оставив других следов поразительной деятельности своего мыслящего существа, за исключением тех, что в течение долгих лет, на подобие древнего мудреца, он оставлял «в сладких беседах по вечерам, под платанами, или в письмах, тоже естествен-

ных беседах с друзьями, от которых его отделяли волны...» Ветер развеял его беседы, так как около него, как около старого доктора Джонсона, не было восторженного и терпеливого Бозвелля¹⁾, который следовал бы за ним по городам и лугам, раскрыв широко уши, и держа наготове карандаш, чтобы всё отметить и предать вечности. От него остались только письма, эти легкие крошки золота, о которых говорит Альцест, и где чувствуется блеск, внутренняя ценность и благородство роскошной глыбы, которой они принадлежали.

VIII.

Если жизнь Фрадика подчинялась твердому и недвусмысленному решению держаться в стороне и хранить молчание, то, печатая его письма, я, повидимому, совершаю необдуманный и предательский поступок, так как толкаю своего друга, после его смерти, в самый шум общественной жизни, от участия в которой его всегда удерживала непоколебимая порядочность духа. И это так бы и было на самом деле, если бы у меня не было неопровержимых доказательств, что Фрадик безусловно одобрил бы разработанный с внимательностью и любовью план издания его Переписки. В 1888 году, описывая ему романтическое путешествие по Бретани, я в своем письме упомянул о книге, которую возил с собой и которой зачитывался с наслаждением, о Переписке Ксавье Дудана²⁾, одного из тех замкнувшихся в самих себя мыслителей, живущих, чтобы совершенствоваться в истине, а не для того, чтобы прославлять себя в жизни; подобно Фрадику, он оставил следы напряженной умственной жизни только

¹⁾ Самуэль Джонсон, автор «Английского словаря» и «Жизни Поэтов» (1709—1784 г.). Его биография написана его учеником Бозвеллем.

²⁾ Ксавье Дудан — вернее: Ксисменес Дудан (1800—1872), литератор и педагог, воспитатель детей герцога Брозье. Письма Дудана к его ученикам и статьи в «Revue Française» были собраны в 1876—1877 гг., в 4-х томах под заглавием «Mélanges et Lettres».

в своей Переписке, благоговейно собранной впоследствии теми, кому он поверял свои мысли.

К ответному письму, посвященному всецело Пиренеям, где он провел лето, Фрадик добавил *post-scriptum*: «Вы правы. Переписку Дудана вполне можно читать; хотя в ней чувствуется только дух человека, по природе ограниченного, который с молодых лет углубился в доктринёрство Женевской школы, а затем, обречённый на уединение и на болезнь, только по книгам знакомился с жизнью, с людьми и миром. Во всяком случае, я прочел его письма, как читаю все сборники переписки, которые, не будучи приготовлены для наставления публики, подобно письмам Плиния, составляют великолепный материал для изучения психологии и истории. Вот прекрасный способ увековечить мысли человека — обнародовать его переписку: я безоговорочно одобряю его! Он уже сам по себе имеет то громадное преимущество, что ценность идей (и, следовательно, выбор тех из них, которые должны остаться) не определяется их автором, а кружком друзей и критиков, тем более свободных и требовательных в своих суждениях, что они судят покойника и желают представить его миру только с выдающейся и блестящей стороны. Кроме того, в Переписке лучше, чем в каком бы то ни было произведении, обнаруживается индивидуальность человека; а это неоценимо для того, чей характер имел на земле большую ценность, нежели его талант. К этому присоединяется еще, что если литературное произведение не всегда обогащает человеческое знание, то Переписка, неизбежно отражая привычки, чувства, вкусы и образ мыслей современников и окружающей жизни, вливает нечто новое в сокровищницу исторических сведений. Кроме того, письма человека являются горячим и пламенным продуктом его жизни, а потому более поучительны, чем его философские взгляды, являющиеся безличным созданием его духа. Философия дает нам только коньектуру, которая уводит уже существующую грудку коньектур: исповедь целой Жизни позволяет нам изучать человеческую действительность, которая вместе с другими объектами изучения, расширяет наше знание Человека, единственного доступного предмета, над которым

может задуматься мысль. И, наконец, так как письма — записанная болтовня (слова не помню какого классика), они не нуждаются в торжественном облачении в несуществующую еще прозу... Но следовало бы развить этот вопрос еще дальше, а я слышу, как у двери остановился конь, на котором я взберусь на Бигоррский пик».

Именно памятью об этом взгляде Фрадика, высказанном так ясно и обоснованно, я решился, лишь только во мне стала успокаиваться скорбь об этом удивительном товарище, собрать вместе его письма, чтобы люди могли узнать и полюбить хоть частицу мысли этого человека, за которым я следовал с такой преданной любовью. Я посвятил целый год этой работе, в память о нашей дружбе, потому что переписка Фрадика, ставшая самым любимым его времяпровождением с тех пор, как этот «исследователь материков» после 1880 года избрал спокойный образ жизни, — по обширности и богатству своему напоминает переписку Цицерона, Вольтера и Прудона, и других мощных тружеников мысли.

Уже по форме бумаги чувствуется, с каким удовольствием он сочинял эти письма: — это великолепные листы ватманской бумаги, достаточно белые, чтобы перо пробегало по ним так же свободно, как голос разрезает воздух; достаточно большие, чтобы на них поместилась самая сложная мысль во всем своем развитии; достаточно крепкие, плотные, как пергамент, чтобы их не одолела червоточина времени. «Я рассчитал, с помощью Смиса, — говорит он Карлошу Майэру, — что каждое мое письмо, на этой бумаге, с конвертом и маркой обходится мне в 250 рейс¹⁾. Предположим теперь с тщеславием, что в пятистах моих письмах содержится одна мысль, — отсюда следует, что каждая мысль обходится мне в сто двадцать пять милрейс²⁾. Этого простого подсчета достаточно, чтобы Государство и экономный Средний Класс, который им управляет, начали с пылом мешать развитию образования, доказывая, и доказывая неопровержимо, что курить дешевле, чем думать... Я кладу на чашки весов думать

и курить, потому что, о Карлош, это два однородных процесса, заключающихся в том, что мы пускаем маленькие облачки по ветру».

В углу этих драгоценных листов стоят инициалы Фрадика, — Ф. М. — простым, мелким шрифтом, красной эмалью. Почерк, чрезвычайно неровный, которым они исписаны, очень напоминает разговор Фрадика: то сжатый и тонкий, словно вливающийся в бумагу, как резец, чтобы придать мысли наиболее точные очертания; то неуверенный, с промежутками, с росчерками, перерывами, как будто он на письме продолжал осторожно, ощупью доискиваться истинной истинности вещей; то более беглый и быстрый, набросанный свободной и непринужденной рукою, напоминая те минуты словоохотливости и остроумия, которые Фонтан де-Карманж¹⁾ называл *le dégel de Fradique*, когда его сдержанные и продуманные манеры вдруг приобретали легкость развевающегося по ветру вымпела.

Фрадик никогда не датировал своих писем; и если его друзьям было известно, откуда он пишет, он указывал только месяц. Существует бесконечное множество писем, с такими сокращенными обозначениями — Париж, Июль; Лисабон, Февраль... Он также нередко возвращал месяцам натуралистические названия республиканского календаря — Париж, Флореаль; Лондон, Нивоз. Когда он писал женщинам, он заменял название месяца названием цветка, который лучше всего его символизирует; и у меня есть письма с такими буколическими датами: Флоренция, первые фиалки (указание на конец февраля); Лондон, появление хризантем (указание на начало сентября). На одном лисабонском письме красуется даже такая ужасная дата — Лисабон, первые потоки парламентского многословия! (Это означает печальный январский день, с грязью, пролетками на площади Сан-Венто, а наверху, бакалавры, изрыгающие, среди ругательств, осевшую в них гущу старых учебников.)

Поэтому невозможно расположить Переписку Фрадика в хронологическом порядке: да этот порядок и не имеет

¹⁾ Около 50 копеек.

²⁾ Около 250 рублей.

¹⁾ То же лицо выше было обозначено Фюстан де-Карманж.

значения, раз я не издаю его Переписку целиком и полностью и не даю беспрерывной и интимной истории его мысли. В письмах, не принадлежащих литератору, и, в отличие от писем Вольтера или Прудона, не составляющих постоянного и непрерывного комментария к его произведениям, прежде всего нужно было выделить страницы, наиболее рельефно обнаруживающие его личность, совокупность мыслей, вкусов, приемов, в которых мы осязаем и ощущаем человека. И поэтому в тяжелых пачках писем Фрадика я выбираю только несколько из числа тех, что обнаруживают черты его характера или проявления деятельной жизни; из числа тех, что позволяют ознакомиться с каким-нибудь поучительным эпизодом жизни его сердца; из числа тех, что, перебирая общие сведения о литературе, искусстве, общественной жизни и обычаях, характеризуют склад его ума; и кроме того, ради того особого интереса, который их отмечает, из числа тех, что касаются Португалии, как, например, его «Лисабонские впечатления», изложенные с такой извительной жизненной правдой, чтобы развлечь Мадам де-Жуарр.

Было бы, конечно, бесполезно искать на этих отрывочных страницах сводку возвышенных и свободных мыслей Фрадика или его глубоких и точных знаний. Переписка Фрадика-Мендеша, как говорит в заключение Альцест — *c'est son génie qui mousse*¹⁾. И действительно, мы видим в ней только сверкающую и преходящую пену, кипящую и бившую через край, в то время как под нею покоилось богатое и укрепляющее вино, которое никогда не было разлито и не послужило на благо жаждущих душ. Но даже в таком лёгком и разбросанном виде, она очень рельефно воспроизводит образ этого человека, до такой степени выдающегося и интересного во всех проявлениях его мысли, страстей, общественного инстинкта и деятельности.

Помимо желания вызвать в своих современниках любовь к этому человеку, которого я так любил, — печатая

¹⁾ «Это его пенящаяся мысль».

письма Фрадика-Мендеша, я повинуюсь голосу чистого и твердого патриотизма.

Народ живет только потому, что мыслит. *Cogitat ergo est*. Сила и Богатство не в состоянии доказать, что народ живет жизнью, достойной прославления в Истории, как крепких мускулов и набитого золотом кошелька недостаточно, чтобы человек в своем лице делал честь Человечеству. Африканское царство, с бесчисленными воинами в своих лагерях и бесчисленными алмазами в своих горах, всегда будет оставаться дикой и мертвой землей, попираемой Цивилизацией, ради выгод Цивилизации, и терзаемой с такой же невозмутимостью, с какою бьют и режут бессмысленный скот, чтобы питать мыслящих животных. И с другой стороны, если бы Египет или Тунис являлись блестящими центрами Науки, Литературы или Искусства и устами возвышенного легиона гениальных людей беспрерывно поучали мир, ни один народ, даже в наш век железа и насилия, не посмел бы занять, как бесплодное и никому не принадлежащее поле, эту царственную почву, с которой поднимался бы возвышенный рой Идей и Форм, чтобы очищать человеческие души.

И правда, только Мысль и ее высшее творение, Наука, Литература и Искусство придают народам величие, привлекают к ним всеобщее уважение и любовь и, образуя в их среде сокровищницу истин и красот, в которых нуждается мир, делают их священными перед лицом мира. В самом деле, какая разница между Парижем и Чикаго? И тот и другой — оживленные и промышленные города, в которых дворцы, учреждения, парки, богатство горделиво соперничают друг с другом. Так почему же Париж является огненным центром Цивилизации, неотразимо влекущим к себе Человечество, и почему Чикаго означает на земле только громадный амбар, откуда получается мука и зерно? Потому что в Париже, кроме дворцов, учреждений и богатств, которыми по праву славится и Чикаго, есть особенный кружок людей — Ренан, Пастёр, Тэн, Бертло, Коппэ, Бонна, Фальгьер, Гуно, Маснэ, безостановочной работой своего мозга превращающие банальный город, где они проживают, в центр высшего познания. Если бы Происхождение Христианства, Фауст, картины

Бонна, статуи Фальгьера приходили к нам из-за моря, из молодого и монументального Чикаго, то к Чикаго, а не к Парижу, обратились бы, как растения обращаются к солнцу, мысли и сердца обитателей Земли.

Итак, если народ становится выдающимся только потому, что мыслит, то всякий, кто открывает нашей родине нового, оригинально мыслящего человека, совершает патриотическое дело, умножая его единственную славу, которая стяжала ему уважение, и единственную красоту, которая сделала его любимым; словно он прибавил к его храмам новую святыню, или над его стенами воздвиг новый замок.

Мишле, в одном из своих писем, говорит об Антеро де-Кентал: — «Если в Португалии осталось четверо или пятеро таких людей, как автор Современных Од, Португалия продолжает быть великой и живой страной...» Творец Истории Франции хотел сказать этим, что сколь долго наша родина живет в области Мысли, хотя бы она умерла в области Деятельности, она не вся обратилась в труп, который позволено безнаказанно попирать ногами и разрывать на части. Но есть разные проявления Мысли: и если не все излучают тот же блеск, то все обнаруживают ту же жизненную силу. Книга стихов может великолепно показать, что душа нации еще жива своим Поэтическим Гением; совокупность спасительных законов, проникнутых положительным духом, может убедительно доказать, что народ еще жив Практическим Гением⁶⁾: — но появление мыслителя в роде Фрадика, служит залогом, что страна живет и менее грандиозными, но одинаково ценными сторонами жизни, остроумием, даром непринужденной импровизации, высшей иронией, фантазией, юмором и хорошим вкусом...

В смутное и горькое время, которое мы переживаем, Португальцев в роде Фрадика нельзя предавать вечному забвению, вдали от родины, под безмолвною плитой мрамора. Поэтому я открываю его своим соотечественникам, в знак утешения и надежды.

¹⁾ В тексте и во втором случае стоит «Поэтический гений». Очевидная опечатка.

Часть II.

ПИСЬМА

I.

Виконту А. П.

Лондон, май.

Мой дорогой соотечественник!

Только поздно вечером, вернувшись из-за города, я нашел записку, где Вы оказываете большую честь моей опытности, спрашивая, «кто самый лучший портной в Лондоне?» Это зависит вполне от цели, для которой Вам нужен этот художник. Если Вам просто требуется человек, умеющий прикрыть экономно и удобно Вашу наготу, тогда рекомендую Вам того, чья вывеска ближе всех к Вашему отелю. Вы сэкономите несколько шагов, а ведь каждый шаг, как говорит Экклезиаст, сокращает расстояние до могилы.

Но если бы вы, дорогой соотечественник, пожелали портного, который сообщил бы Вам вес и значение в свете; дал возможность гордо появиться у дверей Аванезы и, медленно проходя, продемонстрировать покрój волнующейся и изящной талии; дал право упоминать имена встреченных у него лордов, выбирающих свисока концом палки шевиот для охотничьей куртки; и который позднее в старости, в часы скрючивающего ревматизма, послужил бы Вам утешительным воспоминанием об элегантно молодости — тогда с горячей настойчивостью рекомендую Вам Кука (Томаса Кука), который в чрезвычайной моде, абсолютно разорителен и все портит.

Всегда готовый и впредь рекомендовать «поставщиков» в Лондоне и во всех других пунктах вселенной, остаюсь к Вашим услугам

Фрадик-Мендеш.

II.

Госпоже Жуарр.

(Пер.¹⁾)

Париж, декабрь.

Дорогая крестная!

Вчера, у г-жи Трессан, когда я вел к ужину Любушу, под ужасным портретом супруги маршала Муи сидела и разговаривала с Вами белокурая женщина с горделивой светлой головой; она тотчас мне понравилась, может быть, потому, что, хотя она так небрежно сидела в глубоком диване, я почувствовал редкую грацию походки, высокомерную и легкую грацию богини и птички, совершенно отличную от грации нашей ученой Любуши, которая движется с величественной грузностью статуи! И мои каракули проистекают из интереса к походке этой Дианы, вероятно, крылатой.

Кто она? Мне думается, она приехала к нам из глубокой провинции, из какого-нибудь старого замка в Анжу, окруженного поросшим травой рвом, так как я не припомню, чтобы мне приходилось встречать в Париже эти волосы сказочно-белокурые, как лондонское солнце в декабре; ни эти покатые плечи, скорбные, ангельские, похожие на плечи Мадонны Мانتеньи²⁾, и совершенно необычные во Франции с царствования Карла X, со времени «Лилии в долине»³⁾ и непонятых сердец. Я не рассматривал с таким же восторгом черное платье, где преобладало что-то кричаще-желтое. Но руки были безупречны; и на ресницах, когда она их опускала, казалось, повис грустный роман. Сначала она произвела на меня впечатление мечтательницы времен Шатобриана. Но потом я заметил в ее глазах искру чувствительной живости, которая восходит к XVIII веку. Моя крестная скажет: — «как мог я приметить столько, проходя под руку с Любушей, и под ее бдительным взором?» Но дело в том,

¹⁾ Многие из публикуемых писем Фрадика-Мендеша написаны, само собой разумеется, по-французски. Все они сопровождаются сокращенной пометкой (Пер.) — перевод. (Прим. Эсы.)

²⁾ Мانتенья — итальянский художник (вторая половина XV века).

³⁾ «Le Lys dans la Vallée» — роман Бальзака (1835 г.).

что я вернулся. Вернулся и, стоя у косяка двери, снова смотрел на скорбные плечи Мадонны XIII века; на массу волос, которые свет канделябр среди орхидей окружал как бы золотым нимбом; но больше всего — на тонкое очарование глаз, глаз изящных и тоскливых... Глаз изящных и тоскливых. Это первое подходящее выражение, каким я сегодня схватываю действительность.

Почему я не подошел и не попросил «представить» меня? Не знаю. Может быть, я намеренно медлил, как Лафонтен: направляясь к блаженству, он выбирал всегда самый долгий путь. Вы знаете, что придавало столько очарования замку Фей во времена короля Артура? Не знаете, потому что не читали Теннисона¹⁾... Бесконечное число лет, ухודившее на то, чтобы проникнуть к нему через очарованные сады, где каждый уголок рощи являл неожиданное волнение флирта, битвы или пира... (С какой болезненной склонностью к азиатскому стилю проснулся я сегодня!) Факт тот, что после созерцания у косяка двери, я вернулся ужинать рядом с моей сияющей тиранкой. Но между банальным сэндвичем *foie gras* и рюмкой токайского, несколько не похожего на то токайское, какое приходилось пить Вольтеру у г-жи Этиоль, о чем он вспоминал еще в старости (вина Трессанов нисходят по мужской линии от ядов Бренвилье²⁾), я видел, неотступно видел глаза изящные и тоскливые. Из всех животных только человек способен объединить тоску зора и ломтики *foie gras*. Этого не сделала бы, конечно, собака хорошей породы. Но разве к нам стремилось бы «эфемерно-женственное», если бы в нас не было этой ниспосланной провидением грубости? Только доля материализма, заключающаяся в человеке, заставляет женщину подчиняться неискоренимой в нем доле идеализма, которая приносит столько волнений миру. Больше всего повредила Петrarке в глазах Лауры его Сонеты. И когда Ромео, стоя еще одной ногой на шелковой лестнице, медлил, изливая свой экстаз в обращениях к Ночи и Луне,

¹⁾ Речь идет о поэме Теннисона «*Idyls of the King*», напечатанной в 1859 году.

²⁾ Мария-Мадлена, маркиза Бренвилье (1630—1676) — известная отравительница, погубившая своего отца и двух братьев.

8 Кайрош, Фрадик Мендеш.

Джюльетта нетерпеливо стучала пальцами по перилам балкона и думала: «Ах, какой же ты болтун, сын Монтекки!» Этой детали нет у Шекспира, но она подтверждается всем Возрождением. Не кляните меня за эту искренность скептика-южанина и дайте мне знать, какое имя носит в своем приходе белокурая дама из замка в Анжу. Кстати, о замках: мне пишут из Португалии, что беседка, заказанная мною для моего имения в Синтре и предназначавшаяся для Ваших «уединенных размышлений в часы полудня», развалилась. Три тысячи восемьсот франков, ухлопанных на развалины. Все идет к разрушению в стране разрушения. Архитектор, строивший беседку, — депутат и пишет в Вечерней Газете меланхолические этюды о финансах! Мой управляющий в Синтре рекомендует теперь для восстановления беседки почтенного юношу из хорошей семьи, понимающего толк в постройках — состоящего на службе в Главной Государственной Прокуратуре! Может быть, если мне понадобится юрисконсульт, мне предложат каменщика. Вот с такими-то веселыми принципами мы хотим восстановить наши владения в Африке!

Ваш покорный и верный слуга
Фрадик.

III.

Оливэйре-Мартиншу.

Париж, май.

Дорогой друг!

Исполняю, наконец, обещание, данное Вам, ученому отшельнику, в Железных Водах в то мартовское утро, когда мы рассуждали, сидя на солнце, о характере древних: прилагаю, как документ, фотографию мумии Рамзеса II (которого банальный французский язык, подражая банальному греческому, упорно называет Сезострисом), недавно открытую в царских гробницах Мединет-Абу профессором Масперо.

Дорогой Оливэйра-Мартинш, не находите ли Вы смешным в его многозначительности этот факт — фотография Рамзеса?.. Но этим оправдывается балзамирование трупов, применявшееся добрыми египтянами с такой затратой труда и денег, для того, чтобы люди могли наслаждаться в своей телесной форме «преимуществами вечности», как говорит один писец! Рамзес, как он верил, и как его в том убеждали фиванские метафизики, воскресает действительно со всеми своими костями и принадлежавшей ему кожей в этом 1886 году по Рождестве Христове. А ведь 1886 лет и еще 1400 до Рождества Христова составляют очень приличную Вечность и Будущую жизнь для фараона девятнадцатой династии. И вот мы теперь можем созерцать «истинные черты» величайшего из Рамзесов так же реально, как Хокем, его главный евнух, или Пентаур, его первый летописец, или же те, которые некогда в дни торжеств, «по праздничному причесав волосы и умастив кожу Сегабайскими маслами», сбегались усыпать ему путь цветами. Вот он теперь перед Вами на фотографии с опущенными веками и улыбкой на лице. И что говорит мне это царственное лицо? Какие только обидные размышления ни вызывает оно о неизбежном вырождении человека! Где теперь найдется человек из числа правителей народов, с таким высоким лбом, отмеченным спокойной и неизмеримой гордостью; с этой необыкновенной улыбкой всемогущего благожелательства, неизреченного благожелательства, обнимающего весь мир; с этим видом невозмутимой и неукротимой силы; со всем этим мужественным блеском, которого не мог погасить мрак подземелья в течение 3000 лет? Вот истинно Властитель людей! Сравните это величественное лицо с ваялом, хитрым и усатым профилем какого-нибудь Наполеона III; с физиономией цепного бульдога Бисмарка; или с лицом русского царя, лицом сдержанным и ласковым, которое могло бы принадлежать его первому виночерпию. Как пошлы, как лукавы в своем безобразии лица этих властелинов!

Отчего это происходит? Оттого, что душа формирует лицо, как дуновение античного гончара формировало изящную вазу; а теперь в условиях нашей цивилизации

душа не может укрепляться и развиваться во всей полноте, проявляя всю свою силу. В прежние времена обыкновенный человек, пучек мускулов на пучке костей, мог подняться и действовать, как стихия природы. Достаточно было возыметь беспредельное желание, чтобы извлечь из него беспредельную силу. Вот в Рамзесе существо, которое всё хочет и всё может, и которому Пта, мудрый бог, говорит с удивлением: «Твоя воля дает жизнь, и твоя воля дает смерть!» Он движет по собственному желанию целые народы на север и на восток; как изгороди на полях, он меняет и сглаживает границы государств; новые города встают по его следам; для него рождаются все земные плоды, и на него возлагаются все надежды людей; место куда обращается его взор, благоговенно и счастливо, а место, которое не получает этого благотворного света, лежит, как «почва, которой не поцеловал Нил»; боги зависят от него, и Аммон дрожит в беспокойстве, когда перед порталом его храма Рамзес потрясает тремя переплетенными веревками своего боевого бича! Вот человек; и он может с уверенностью утверждать в своей победной песне: «Все склонилось пред моей силой; я хожу широкими шагами льва; царь богов по мою правую и по мою левую руку; когда я говорю, небо слушает; все земное простирается у моих ног, чтобы я мог взять его непринужденной рукою; и навсегда я возвышаюсь на троне мира!» «Миром», конечно, была область, большею частью песчаная, от Ливийского хребта до Месопотамии: нигде не встретить более необузданной напыщенности, чем в панегириках писцов. Но этот человек несравненно велик или считает себя таким. И это сознание величия и неограниченной власти необходимо отражается в чертах лица и придает ему то горделивое выражение, смягченное веселой ясностью, которое Рамзес сохраняет даже по ту сторону жизни, высушенный, набальзамированный и наполненный смолою Иудей.

Посмотрите с другой стороны на условия жизни властителя типа Бисмарка. Несчастный ни над чем не возвышается и от всего зависит. Каждый импульс его воли разбивается о какое-нибудь препятствие. Его деятельность в мире заключается в том, что он постоянно коло-

тится головой о толстые, хорошо защищенные двери. Всякого рода условности, традиции, права, предписания, интересы, принципы встают перед ним каждую минуту, как заповедные грани. Заметка в газете останавливает его в нерешительности. Крюкотворство законника принуждает его поспешно спрятать коготь, когда он собирался его выпустить. Десять глупых буржуа и десять лохматых профессоров, голосуя в собрании, повергают наземь высокие леса его планов. Несколько флорингов в казенном сундуке делаются мучением его ночей. Ему так же невозможно распорядиться каким-нибудь гражданином, как каким-нибудь светилом. Никогда он не может двинуться с одного порыва, прямо и уверенно: он должен извиваться и ползать. Бдительность окружающих налагает на него обязанность разговаривать тихо и прятаясь по углам. Вместо «срывания земных благ свободной рукой», он урывает их по крошкам после темных интриг. Непреодолимые потоки идей, чувств, интересов работают под ним и вокруг него: кажется, он управляет ими, потому что он много суетится и кричит, стоя на возвышении, но в действительности они его увлекают. Так всемогущий властелин типа Бисмарка, повидимому, иногда движется поверх всего великого; — нет, как отвязанный буюк, он плывет на поверхности потока.

Жалкое всемогущество! И сознание этой ничтожности не может не действовать на физиономию наших властителей, придавая ей этот притворный вид, беспокойный, вымученный, кислый и, главным образом, помятый, какой наблюдается на лице Наполеона, царя и Бисмарка, всех тех, кто объединяет в себе в высшей мере современную власть — вид помятого предмета, который катится, толкаясь и ударяясь о встречные стенки.

Итак, — мумия Рамзеса II (единственное подлинное изображение древнего, известное нам) доказывает, что, так как человеку сделалось невозможным прожить жизнь с наибольшей свободой и наибольшим проявлением силы, без каких-либо других ограничений, кроме собственного желания, то результатом является утрата навсегда физическим типом человека наивысшего и совершенного выражения величия. Уже нет ни одного величествен-

ного лица, а только жалкие маски, где злоба роет морщины среди складок кожи. Благородные физиономии есть только у диких зверей, истинных Рамзесов пустыни: они ничего не потеряли ни из своей силы, ни из своей свободы. Современный человек, даже на социальной высоте — это бедный Адам, сплюснутый между двумя страницами уложения.

Если Вы найдете все это преувеличенным и фантастическим, припишите это тому, что вчера я обедал и, следовательно, разговаривал с Вашим единомышленником П., статским советником и *muchas cosas más*¹⁾. *Más* по испански и *más* также по португальски²⁾. Это письмо — сильная реакция против нравоучительного разговора с советником. Ах, мой друг, мой несчастный друг, что делаете Вы, когда на Вас низвергается словесный поток из уст советника? Я принимаю внутреннюю ванну, очистительную ванну, огромную ванну фантазии, куда вливаю, как приятный аромат, склянку Шелли или Мюссе.

Верный друг *et nunc et semper*³⁾,
Фрадик-Мендеш.

IV.

Госпоже С.

Париж, февраль.

Мой милый друг!

Имя испанца — Дон Рамон Коварубия, живет он в Пасаже Сонье, № 12 и, так как он аррагонец, а, следовательно, невзыскателен, то, я думаю, он удовлетворится вполне десятью франками за урок. Но если Ваш сын уже освоился с испанским языком настолько, чтобы понимать Романсы, Дон Кихота, несколько «плутовских» романов, двадцать строк из Кеведо, две комедии Лопе де-Вега, один

¹⁾ И еще много другого.

²⁾ *Más* — по испански значит больше; *más* по португальски — дурное.

³⁾ «Ныне и присно».

или два романа Гальдоса¹⁾ (а этого вполне достаточно, чтобы знать испанскую литературу), то зачем же Вы желаете, моя разумная приятельница, чтобы он говорил на испанском языке, который он уже изучил, с акцентом, вкусом и остроумием мадридца, родившегося на самых камнях Калье-Майор? ²⁾ Кроткий Рауль потратит время, определенное ему обществом на приобретение идей и понятий (а общество уделяет юноше с его именем, состоянием и красотой на это накопительство знаний только семь лет, от одиннадцати до восемнадцати), на что? На заострение с изысканной и излишней утонченностью простого орудия приобретения понятий и идей — а это ведь роскошь. Потому что язык, мой добрый друг, не более, чем орудие знания, как бывают земледельческие орудия. Потратить энергию и жизнь, чтобы научиться говорить на каждом языке с такой чистотой и точностью, чтобы казалось, будто каждый язык вам родной, и будто на нем вы попросили впервые хлеба и воды — это значит поступить, как земледелец, который вместо того, чтобы удовлетвориться для копания земли простым железом, вделанным в обыкновенную ручку, старался бы в течение месяцев, нужных для обработки огорода, гравировать на железе эмблемы и вырезать цветы и листья на ручке. Что случилось бы, милостивая государыня, с Вашими садами в Турени, если бы Ваш садовник, был занят таким тщательным украшением и усовершенствованием своей лопаты?

Человек должен говорить с непогрешимой уверенностью и чистотой только на языке своей родины; на всех других он должен говорить плохо, надменно плохо, с тем плоским и неверным акцентом, который сразу выдает иностранца. Поистине в языке живет национальность, и кто овладевает с возрастающим совершенством всеми наречиями Европы, тот постепенно подвергается денацио-

¹⁾ Романсеро — сборник романсов, небольших исторических поэм на испанском языке. — Плутовские романы — литературный жанр, очень популярный в Испании XVII века и посвященный описанию героев из низших слоев общества «*piratas*». Наиболее знамениты «Ласарильо с Тормеса» и «Гусман де-Альфараче» Матео Алемана. — Кеведо, испанский писатель-сатирик (1580—1645). — Венито Перес-Гальдос, современный испанский романист.

²⁾ Большая улица (в Мадриде).

нализации. Для него родной язык уже не представляет больше той особой и исключительной прелести, не воздействует на его чувства, а ведь именно эта атмосфера окружает, отделяет человека от других рас; а космополитизм речи неизбежно придает ему космополитический характер. Полиглот никогда не будет патриотом. Каждый новый усвоенный им язык вводит в его моральный организм чуждый образ мыслей, чуждый способ чувствования. Его патриотизм исчезает, растворяясь в любви к иностранному. Rue de Rivoli, Calle d'Alcalá, Regent Street, Wilhelm-Straße — какое ему дело? Все это улицы, вымощенные булыжником или асфальтом. Язык, который он слышит на любой из них, создает ему естественную и сродную стихию, где дух его движется свободно, непосредственно, без колебаний и неловкостей. И так как через Слово — главное орудие общения людей — он может слиться с каждым народом, то везде он чувствует и приемлет родину.

С другой стороны, вечное усилие человека выражаться на чужом языке, с точным и верным соблюдением особенностей его строя и акцента — это усилие слиться с чужими людьми в том, что в них есть наиболее характерного — в слове заглушает в нем всякую национальную индивидуальность. По прошествии многих лет этот искусник, уже говорящий в совершенстве на других языках, кроме своего, теряет всякую духовную оригинальность, потому что идеи его необходимо должны иметь нехарактерную и нейтральную природу, благодаря чему они безразлично усваиваются языками, самыми противоположными друг другу по характеру и духу. Они должны походить, в самом деле, на тех бедных людей, о которых так грустно говорит народ: «Они хорошо выглядят во всяком платье».

Кроме того, стремление говорить в совершенстве на иностранных языках в глазах иностранца представляет неприятное кривлянье. Он видит в этом рабское желание не быть самим собою, слиться с ним, иностранцем, с тем, что в нем есть наиболее своего, своего собственного — со Словом. Вот это-то и есть отречение от национального достоинства. Нет, милостивая государыня! Будем говорить благородно плохо, патриотично плохо на чужом

языке! Хотя бы потому, что иностранцам полиглот внушает только недоверие, как существо без корней, без постоянного очага, существо, которое проносится среди чуждых наций, поочередно рядится в каждую из них и пробует обосноваться среди каждой, так как ни одна его не терпит. Действительно, если Вы, мой друг, просмотрите Судебную Газету, то увидите, что совершенный полиглотизм — орудие наивысшего мошенничества.

Однако, увлеченный диллетантством мысли, я как будто вместо адреса посылаю Вам трактат!.. Но пусть моя болтовня заставит Вас, по крайней мере, улыбнуться, подумать и уберечь нашего Рауля от ужасного труда произносить Viva la Gracia! и Benditos sean tus ojos! так, как будто он живет на углу Puerta del Sol в плаще с бархатными полами и сосет папиросу Ласарильо¹⁾. И это все, однако, не мешает использовать Дон Рамона. Он не только соррилист²⁾, но еще и гитарист, и может заменить уроки языка Кеведо уроками на гитаре Альмавивы. И ваш прекрасный Рауль приобретет таким образом новую способность изъясняться, способность выражать чувства посредством медных струн. А это превосходный дар! Гораздо лучше знать в молодости, и даже в старости, как посредством четырех струн скрипки облегчить душу от всего неясного и безыменного, что в ней теснится, чем уметь безукоризненно требовать в гостиницах всего мира хлеба и сыра на шведском, голландском, греческом, болгарском и польском языках.

И разве действительно так уж необходимо даже для удовлетворения насущных потребностей души и желудка проходить в течение долгих лет под руководством жестоких учителей «по пустыням и болотам грамматики и произношения», как говорил старик Милтон? У меня была прекрасная тетка, она говорила только на португальском языке (или, вернее, миньотском³⁾) и объездила всю Европу спокойно и с удобствами. Госпожа эта, ве-

¹⁾ Испанские восклицания в роде: «Вот прелесть!». — Ласарильо — герой плутовской повести того же названия (см. прим. 1 к стр. 119).

²⁾ Соррилья (Zorrilla) — испанский поэт (1817—1893), пользовавшийся в свое время большой популярностью.

³⁾ От Миньо — провинция на севере Португалии.

села, но с плохим пищеварением, ела просто яйца, которые она знала и понимала только под их национальным и родным названием *ovos*. Для нее *huevos*, *oeufs*, *eggs*, *das Ei* были звуками неотесанной природы, мало отличными от кваканья лягушек или треска дерева. Поэтому, когда в Лондоне, Берлине, Париже, Москве ей нужны были яйца, эта бойкая госпожа требовала к себе лакея отеля, вперяла в него свои пронзительные и выразительные глаза, приседала серьезно на ковре и, подражая медленными движениями пышных юбок курице-наседке, кричала ки ки ри ки! ко ко ри ки! коро ко ко! И никогда, ни в обыкновенном городе, ни в средоточии умственной жизни Вселенной, моя тетка не оставалась без яиц — и самых свежих!

Целую Ваши руки, мой снисходительный друг, —
Фрадик.

V.

Гэрре-Жункейре.

Париж, май.

Мой дорогой друг!

Ваше письмо преисполнено поэтической иллюзии. Если действительно Вы чистосердечно полагаете, что, поразив стихами (даже Вашими стихами, а они сверкают ярче, чем стрелы Аполлона) церковь, бога отца, литургию, таинства, пост по пятницам и мощи мучеников, можно очистить бога от жреческих наслоений и поднять народ (в народ Вы, конечно, включаете статских советников) до понимания чистой и абстрактной религии — религии, состоящей только из морали, опирающейся на веру — то, значит, о религии, о ее сущности и цели у Вас смутное представление упрямого мечтателя!

Мой добрый друг, уничтожьте в религии ритуал, и она исчезнет. Для людей (за редким исключением Метафизиков, Моралистов и Мистиков) религия не более, чем совокупность обрядов; при помощи их каждый народ пытается установить интимное общение со своим богом и полу-

чать от него милости. Это, только это, было целью всех культов, начиная от самого примитивного культа Индры, — до новейшего культа сердца Марии, который так Вас шокирует в Вашем приходе, о неисправимый поклонник идеализма!

Если Вы хотите проверить это на истории, покиньте Вьяну-ду-Каштело¹⁾, возьмите посох и пройдем со мною через древность в землю, хорошо обработанную, хорошо орошенную, что лежит между рекой Индом, отрогами Гималаев и песками великой пустыни. Мы находимся в Семиречье, в Счастливой долине, в земле арийцев. В первом селении, где мы остановимся, Вы увидите на холме алтарь из камней, покрытый свежим мхом; на нем тускло мерцает слабый огонь; и вокруг ходят люди, одетые в полотняные одежды, с длинными волосами, схваченными обручем из чистого золота. Это священники, мой друг! Это первые священнослужители человечества, и каждый из них совершает на заре теплого майского дня обряд арийской литургии. Один из них очищает от коры и сучьев дерево, питающее священный огонь. Другой растирает в ступке ударами, которые должны звучать, «как бубен победы», ароматические травы, дающие сому²⁾; этот, как сеятель, разбрасывает вокруг жертвенника зерна овса; тот рядом, простирая руки к небу, начинает простую песнь. Эти люди, друг мой, выполняют обряд, заключающий в себе всю религию арийцев; он имеет целью умилостивить Индру — Индру, солнце, огонь, божественную силу, которая может наполнить бедствиями и скорбью сердце арийца, высушив воду в оросительных каналах, сжегши пастбища, выпустив чуму из болот, и сделав Семиречье более бесплодным, чем «злое сердце»; или же, растопив снега Гималаев и выпустив с ударом грома «дождь, лежащий в чреве облаков», возвратить воду рекам, зелень лугам, безвредность болотам, радость и изобилие дому арийца. Дело просто-на-просто состоит в том, чтобы убедить Индру быть всегда щедрым и проливать над Семи-

¹⁾ Город на севере Португалии в провинции Миньо.

²⁾ Сом — напиток, употреблявшийся в Индии при жертвоприношениях, и растение, из которого он получался.

речью все блага, какие может пожелать сельский и пастушеский народ.

В этом нет ни Метафизики, ни Этики — ни объяснений природы богов, ни правил поведения людей. Есть просто литургия, совокупность обрядов, которые необходимо соблюдать арийцу, чтобы Индра заботился о нем — раз опыт поколений доказал, что Индра только тогда услышит его, только тогда дарует просимые блага, когда вокруг его алтаря определенные старцы определенной касты, одетые в чистые льняные одежды, вознесут ему приятные песнопения, произведут возлияния, нагромоздят подношения из плодов, меда и мяса ягненка. Без подношений, без возлияний, без песнопений, без ягненка Индра, недовольный и скрытый в глубине Невидимого и Недостижимого, не прольет на землю потоков своей доброты. И если явится поэт из Вяны-ду-Каштело и отнимет у арийца его алтарь со мхом, его священное дерево, ступку, сито и сосуд с сомой, у арийца не останется средств умиловивлять своего бога, а бог перестанет заботиться о нем; и он будет на земле, как дитя без пищи, чьих шагов никто не оберегает.

Эта первобытная религия — абсолютный и неизменный тип религий; он во всех инстинктивно повторяется, и в нем в конечном счете заключается вся религия (несмотря на чуждые элементы богословия, метафизики, этики, вводимые в него великими умами). Религии, друг мой, обожествляя силы природы или душу мертвых, во всех странах, во всех расах всегда состояли из ряда навыков, при помощи которых простой человек старается получить от божественного благоволения наивысшие блага: здоровье, силу, мир, богатство. И даже тогда, когда человек, уже более уверенный в собственных силах, ищет этих благ у гигиены, порядка, закона и труда, он еще продолжает умиловивлять бога обрядами, чтобы бог помог его усилиям.

То, что Вы наблюдали в Семиречье, Вы проверите также (прежде, чем мы вернемся в Вяну пить молодое монсанское¹⁾ вино, воспетое Вами) на классической древности

¹⁾ Монсан — местечко на севере Португалии, на испанской границе.

в Афинах или Риме, где хотите, в момент наивысшего блеска и расцвета греко-эллинской цивилизации. Если Вы там спросите античного человека, будь то горшечник из Субурры или сам *Flamen Dialis*¹⁾, о составе доктрины или моральных воззрений, образующих религию — он улыбнется, не понимая Вас. И он ответит, что религия состоит в *расес deorum quaeere*, в умиротворении богов, в приобретении их прочного благорасположения. По мысли античного человека, это означает исполнять все обряды, благочестивые действия и формулы; единственно они, как доказала долгая традиция, могут привлечь внимание богов, убедить их, расположить к себе. И необходимо было не изменять в этом церемониале смысл хотя бы одного слога молитвы, значение хотя бы одного жеста при жертвоприношении. Иначе бог, не признав жертву достойной его любви, и молитву — благодарности, остался бы безучастным и далеким; и религия извратила бы свою наивысшую цель: воздействовать на бога. Хуже того! Она стала бы беззаконием: и бог, видя в этих ошибках недостаток благоговения, послал бы тотчас же с высот стрелы своего гнева. Косые складки туники священнослужителя, шаг направо, движение налево, медленное падение капель при возлиянии, или величина жертвенного огня, — все эти подробности были предписаны неизменными ритуалами, и их удаление или изменение рассматривались, как нечестие. Они составляли настоящее преступление против отечества, потому что навлекали на него негодование богов. Сколько побеждено легионов, сколько разорено крепостей из-за того, что первосвященник уронил щепотку пепла с жертвенника — или из-за того, что гаруспекс²⁾ вырвал недостаточно шерсти с головы ягненка! Поэтому Афины наказывали жреца, который изменял церемониал, и сенат низлагал консулов, совершивших ошибку в жертвоприношении, как бы она ни была незначительна: например, если вместо того, чтобы дать тоге соскользнуть на плечо, они удержали ее на голове. Таким образом в Риме, направляя свои сверкающие сатиры про-

¹⁾ Высший жрец Юпитера в Риме.

²⁾ Жрецы в Риме, гадавшие по жертвенным животным.

тив божества, Вы были бы великим и любимым комическим поэтом; но высмеивая, как в «Старости вечного отца», литургию и церемониал, Вы считались бы общественным врагом, предателем государства, и были бы обречены на заключение в Туллианской тюрьме.

И если Вы уже пресытились этими древними временами и пожелали бы вернуться к нашим философским дням, Вы бы нашли в двух великих религиях востока и запада, в католичестве и буддизме, еще более убедительное и живое доказательство того, что религия состоит действительно из обрядов; над ними стоят мораль и богословие, как интеллектуальная, излишняя и преходящая роскошь, не проникая в них — цветы, прикрепленные к алтарю воображением или идеалистической добродетелью. Католицизм (никто лучше Вас этого не знает) сводится теперь к краткому ряду практических правил — и тем не менее ни в одной еще религии разум не воздвигал более обширной и величественной постройки богословских и моральных концепций. Эти концепции, однако, дело ученых и мистиков, никогда собственно не выходили за ограду школ и монастырей, где были драгоценным материалом для диалектики и поэзии. Никогда они не проникали в толпу, чтобы методически управлять умами и сознательно управлять поступками. Сведенная в катехизисы и прописные истины, эта масса правил выучивалась народом; но никогда нельзя было убедить народ, что у него есть религия, что он угождает богу и служит богу, поскольку он исполняет десять заповедей вне всяких молитв и всякого соблюдения ритуала. Он даже заучивал эти десять заповедей, деяния милосердия и другие моральные предписания катехизиса, в убеждении, что эти стихи, произнесенные губами, обладают чудесной силой привлечь внимание, заботы и милости господина. Чтобы служить богу — а это является средством угодить богу — самым существенным было всегда слушать мессу, перебирать четки, поститься, приобщаться, давать обеты, жертвовать облачения святым и т. д. Только этими обрядами, а не моральным выполнением морального закона можно расположить бога, т. е. получить от него неоценимые дары здоровья, счастья, богатства, мира. Самое небо или

ад — это внезапное утверждение закона — никогда не достигались и не избегались, по мысли народа, точным послушанием закону. И, может быть, именно поэтому вполне резонно католицизм считает награду и наказание обнаружением не справедливости бога, но его милости. А милость, по представлению простых людей, получается только через постоянное и неуклонное исполнение предписаний — месса, пост, покаяние, причастие, четки, молитвы, жертвы, обет. Таким образом в католицизме миньотца, как и в религии арийца в Семиречье, как и в Карразде-д'Ансайнш¹⁾, все сводится к умилоствлению бога посредством набожных упражнений, которые снискивают его милость. В этом нет ни богословия, ни морали. Есть только акт бесконечно слабого существа, желающего умиловить существо бесконечно сильное. И если Вы, желая очистить этот католицизм, вычеркнете патера, эпитрахиль, флакончик святой воды, весь ритуал и всю литургию — католик тотчас же покинет религию, где нет видимой церкви, и которая не доставляет ему простых и ощутимых способов общения с богом, чтобы получить от него ряд трансцендентных благ для души и чувственных благ для тела. Католицизм в этот момент кончится, и миллионы существ потеряют своего бога. Церковь и бог — это сосуд с ароматами. Церковь распалась, и бог испарился.

Если бы у нас было время отправиться в Китай или на Цейлон, Вы бы столкнулись с тем же явлением в буддизме. В этой религии была выработана самая возвышенная метафизика и самая благородная мораль. Но во всех расах, куда она проникала, в орды Непала или китайский мандаринат, для толпы буддизм всегда состоял из обрядов, церемоний, благочестивых упражнений; самое известное из них — молитвенная мельница. Вы никогда не сталкивались с этой мельницей? Она, к сожалению, слишком похожа на кофейную мельницу. Во всех буддистских странах Вы увидите ее на улицах города, на перекрестках дорог, чтобы набожный человек, проходя, сде-

¹⁾ Местечко на северо-востоке Португалии в провинции Траз-ош-Монтеп.

лал два оборота ручкой, и, заставив пошелестеть внутри написанные молитвы, мог войти в общение с Буддой, который за этот акт трансцендентной почтительности «будет ему благодарен и умножит его блага».

Ни католичество, ни буддизм не приходят из-за этого в упадок. Наоборот! Они пребывают в своем нормальном и естественном состоянии. Чем больше религия делается материальной, тем более она популяризуется и, следовательно, становится более божественной. Не пугайтесь! Я хочу сказать, что чем больше она освобождается от интеллектуальных элементов богословия, морали, гуманизма и т. д., откидывая их в области им свойственные, которые суть философия, этика и поэзия, тем успешнее она ставит людей в прямое и простое единение и общение с их богом; оно так легко осуществимо, что в награду за коленопреклонение, за пробормотанное «Отче Наш» абсолютный человек на небесах идет навстречу временному земному человеку. Вот эта-то встреча и есть факт наиболее божественный в религии. И чем больше она материализуется, тем больше на самом деле она становится божественной.

Вы, однако, скажете (и действительно говорите): «Сделаем это общение чисто-духовным, чтобы лишнее всякой литургической внешности оно было только духом человека, говорящим с духом божественным». Но для этого необходимо, чтобы наступило тысячелетнее царство Мессии, когда каждый землекоп с лопатой будет философом, мыслителем. И когда придет это ужасное царство и на козлах каждой пролетки будет сидеть Малебранш, Вам придется прибавить к этой новой совершенной породе мужчин новую совершенную породу женщин, физиологически отличную от той, которая теперь украшает землю. Потому что, пока женщина будет оставаться физически, интеллектуально и морально такой, какой Иегова с глубоким вдохновением художника создал ее из Адамова ребра, всегда рядом с нею, ради ее слабости, останется алтарь, образ и патер.

Это мистическое общение человека с богом, к которому Вы стремитесь, всегда будет привилегией только избранных духа, очень немногих. Для человеческой массы во

все времена языческая, буддистская, христианская, магометанская, дикая или культурная религия всегда будет иметь целью, в своей сущности, мольбу о божественных милостях и умиротворение божественного гнева. И материальным орудием достижения этих целей всегда будут храм, патер, алтарь, богослужение, облачения, образа. Спросите среднего человека, вышедшего из толпы, не философа или моралиста или мистика, что такое религия. Англичанин скажет: «Посещать хорошо одетым воскресную службу, петь гимны». Индус скажет: «Делать каждый день роожак и приносить дань Махадеве¹⁾». Африканец скажет: «Приносить Мулунгу его порцию муки и масла». Миньотец скажет: «Слушать обедню, перебирать четки, поститься по пятницам, причащаться на Пасхе». И все будут вполне правы, потому что вся их цель, как существ религиозных, — общение с богом; соответствующее состояние цивилизации и вышедшее из него соответствующее богослужение и дают им эти средства общения. Voilà! Ясно, что для Вас и для других избранных умов религия нечто другое — как она была чем-то другим для Сократа в Афинах и в Риме для Сенеки. Но человеческие массы не состоят из Сократов и Сенок, к счастью — для них и для тех, кто ими руководит, включая и Вас, претендующего на управление ими!

Но все-таки не отчаивайтесь, мой друг! Даже у простецов есть способы быть религиозными, вполне свободные от богослужебных и обрядовых внешностей. Один из них, восхитительно простой и трогательный, я наблюдал сам. Это было на берегах Замбези. Негритянский начальник, по имени Лубенга, пожелал накануне начала войны с соседним вождем войти в сношение со своим богом, своим Мулунгу (который был, как всегда, его обоготворенным предком). Весть или просьба, которую он желал послать своему божееству, не могла быть, однако, передана через колдунов и их церемонии из-за серьезности и интимности ее содержания. Что же делает Лубенга? Он зовет раба, обстоятельно и медленно передает ему поручение на

¹⁾ rājā — по-санскритски: почтение, почитание, поклонение. Mahādeva — великий бог.

ухо, хорошенько проверяет, всё ли понял раб, всё ли запомнил, и тотчас схватывает топор, отрубает рабу голову и спокойно восклицает: «Иди!» Душа раба пошла прямо на небо, как запечатанное письмо с маркой, к Мулунгу. Но несколько минут спустя вождь ударяет огорченно рукой по голове, поспешно зовет другого раба, наскоро говорит ему на ухо несколько слов, хватая топор, отделяет ему голову от туловища и кричит: «Ступай!»

Он забыл какую то подробность в своей просьбе к Мулунгу... Второй раб был *post scriptum*'ом.

Этот простой способ общения с богом должен порадовать Ваше сердце.

Друг вышеназванного — Фрадик.

VI.

Рамальо Ортигану.

Париж, апрель.

Дорогой Рамальо!

В субботу вечером на улице Камбон мимо меня проезжает в фиакре наш общий приятель Эдуардо; он бросается к дверце и кричит: «Рамальо! сегодня вечером! Проездом в Голландию! В десять часов! в Café de la Paix!»

Я приятно взволнован; и в половине десятого, несмотря на мое справедливое отвращение к Café de la Paix, центру натянутого интернационального снобизма, я располагаюсь там с бокалом пива, ожидая каждую минуту появления из бесцветной и вялой толпы бульвара великолепной фигуры Рамальо. В десять торопливо соскакивает с фиакра вечно оживленный Кармонд, покинувший веселый десерт *pour voir se grand Ortigan*¹⁾! Начинается ожидание вдвоем с двумя бокалами. О Рамальо и его жизнерадостности нет и помину. В одиннадцать появляется запыхавшийся Эдуардо. А Рамальо? Все еще не явился! Ожидание троим, нетерпение троих, бокалы у троих. И так до тех пор, пока часы не пробили последнего часа дня.

¹⁾ «Чтобы поглядеть на этого великого Ортигана».

Взамен — случай, и случай поучительный. Кармонд, Эдуардо и я уже допивали пиво, разочаровавшись в Рамальо и в его великолепии, как, проходя мимо нас, слегка задевает наш столик темный, худой, длинный субъект; в руке он почтительно, почти благоговейно несет великолепный букет желтой гвоздики. Человек этот заморский, из Аргентинской или Перуанской республики и друг Эдуардо; тот его останавливает и представляет, как «сеньора Мендибалья». Мендибаль соглашается выпить бокал пива. Я начинаю безмолвно созерцать профиль этой медноокрасной физиономии, цвета английского пробкового шлема, как будто вырезанной из лезвия топора; бородавка немного темнее кожи, похожая на черный пушок, нерешительно топорщится, указывая на вялость темперамента. Угловатая голова и убегающий назад, как в испуге, лоб. Адамово яблоко, наоборот, выдвигается вперед, как нос галеры, из отогнутых углов воротничка, очень высокого и более блестящего, чем эмаль. В галстук большая жемчужина.

Я наблюдаю, а Мендибаль говорит. Говорит протяжно, почти печально, и конечные гласные теряются, переходят в стон. Голос совсем безутешный; но в том, что он говорит, обнаруживается самое сильное, уверенное и бесстыдное удовлетворение жизнью. У этого животного все есть: огромные владения по ту сторону океана, доверие поставщиков, дом в Парке Монсё и «обворожительная жена». Как он обмолвился об этой даме, украшении его очага? Не знаю. Был момент, когда я поднялся навстречу моему другу, старому англичанину; возвращаясь из Оперы, он хотел мимоходом сообщить мне по секрету, что «ночь замечательная!» Когда я вернулся к столу и кружкам, аргентинец уже начал монолог в честь «своей госпожи». Кармонд, наслаждаясь и забавляясь, пожирал человечка смеющимися глазами. Эдуардо слушал в тяжелой позе древнего португальца. А Мендибаль, почтительно и заботливо положив рядом на стул букет гвоздики, расписывал добродетели и очарование мадам. Чувствовалось одно из тех кипучих и клокочущих преклонений, которое не может оставаться скрытым, но разливается везде, даже по столикам кафе: где бы ни проходил этот человек, по-

всюду он распространяет свое обожание, как неизбежно стекает вода с намокшего дождевого зонтика. Я понял это, когда он с удовлетворением, еще больше выдвигавшим адамово яблоко, открыл, что *м-ме Мендибаль* французенка. Брюнеты обыкновенно пристрастны к белокурой миловидности парижаночек, обольстительно и изящно пикантной. Как только я это понял, я почувствовал к нему симпатию. И аргентинец почувал во мне это критическое благорасположение, потому что ко мне он обращался, бросая последнее славословие, самое решительное, о превосходствах *Madame*: «Да, действительно, другой такой нет в Париже! Например, с какой любовью она ухаживает за матерью (его матерью), дамой почтенного возраста и болезненной! Какое терпение, деликатность, почтительность. Прямо становись на колени! А между тем мамаша в последние дни стала такая ворчливая!.. *М-ме Мендибаль* даже похудела. Так что он сам попросил ее провести это воскресенье, чтобы рассеяться, в Версали, где ее мать, *М-ме Жюффрау*, живет из экономии. Он только-что встретил ее на вокзале Сен-Лазар. Но, господа, весь день в Версали она — это святое создание, — беспокоилась о свекрови, истосковалась по дому, стремилась вернуться. Ей даже не доставил удовольствия визит к матери! Большую часть такого прекрасного дня она провела, собирая этот великолепный букет желтой гвоздики, чтобы отвезти ему!»

— «Правда! Посмотрите! Этот букет гвоздики! Он такой трогательный. Ведь, на эти милые сюрпризы, на эту нежность способна только французенка. Благодарение богу, я могу сказать, что мне посчастливилось! И если бы у меня были дети, только один мальчик, я бы не променял его на принца Уэльского. Я не знаю, женаты ли вы. Простите за фамильярность. Но если нет, то я вам скажу, как говорю всем: женитесь на французенке, женитесь на французенке!..»

Ничего не могло быть более трогательного и смешного. Так как Вы не явились, беглец Рамальо, мы разошлись. Мендибаль вскочил в фиакр со своим дорогим букетом. Я потащился теплой ночью в клуб. В клубе встречаю Шамбрэ, Вы знаете «знаменитого Шамбрэ». Я застал

его в глубоком кресле, утомленного и сияющего. Спрашиваю, как ему живется, какого он сегодня мнения о жизни. Шамбрэ заявляет, что жизнь — наслаждение. И тотчас, не будучи в состоянии сдержаться, он делает признание, нетерпеливо игравшее у него в улыбке и влажных глазах.

Он отправился в Версаль с намерением посетить Фукье. В том же отделении ехала с ним женщина, *une grande et belle femme*¹⁾. Великолепная фигура Дианы в плотном облегающем костюме от Редферна. Маленькая голова, волнистые волосы с пробором по середине, густые и прекрасные. Серьезные глаза. Два солитера в ушах. Существо основательное и солидное, без претензий и хвастовства, хорошо культивированное, окруженное уважением, высоко поставленное в жизни.

И несмотря на эту физическую и социальную почтенность — манера жадно облизывать губы каждую минуту, быстро, кончиком языка... Шамбрэ думает про себя: «мещанка, тридцать лет, шестьдесят тысяч франков дохода, сильный темперамент, разочарование в браке». И едва трогается поезд, он принимает свой «великосветский вид Шамбрэ» и бросает даме один из тех взглядов, символом которых в прежние времена были стрелы Амура. Дама невозмутима. Но, несколько минут спустя, сквозь немного тяжелые веки прямо на Шамбрэ (он наблюдал сбоку из-за раскрытого Фигаро) исходит один из испытующих лучей света в поисках, как фонарь Диогена, действительного человека. При приближении к Курбуа, под предлогом опустить из-за пыли окно, Шамбрэ отваживается на слово, смелое в своей робости, о парижской жаре. Она снисходит до другого, еще нерешительного и туманного, о деревенской прохладе. Эклога завязывается. В Сюрене Шамбрэ закуривает и садится, рядом с ней, на скамейке. В Севре рука мадам похищается рукой Шамбрэ; рука Шамбрэ отталкивается ею: незаметно для них самих их пальцы сплетаются. В Вирофле Шамбрэ неожиданно предлагает прогуляться в окрестностях Вирофле, в буколическом уголке несравненной прелести, не посе-

¹⁾ «Высокая и красивая женщина».

щаемом буржуазией и известном только ему. Потом в два часа они сядут на другой поезд в Версаль. И, не давая ей раздумывать, он увлекает ее морально или скорей физиологически просто силой горячего шопота, веселых глаз, всей своей мужественной, открытой фигурой.

И вот они в деревне, среди аромата древесного сока, и весна и Сатана, стоворясь, веют вокруг дамы своим теплым дыханием. Шамбрэ знает на опушке леса у озера маленькую таверну с окнами, окаймленными жимолостью. Почему бы им там не позавтракать рагу, запивая его белым сюренским вином? Дама, в самом деле, чувствует приятный голод порхающей на дугу птички. Сатана, не отставая от них, бежит вперед, чтобы все устроить в таверне. Они находят там нужные удобства: прохладную и спокойную комнату с накрытым столом; муслиновый занавес скрывает в глубине и маскирует альков. «Неприменно, чтобы завтрак подавали скорей, потому что мы уезжаем с двухчасовым поездом», таков искренний возглас Шамбрэ!

Когда подают рагу, на Шамбрэ находит гениальное вдохновение: он снимает сюртук и садится за стол в жилете. Эта непринужденность и свобода восхищает ее, возбуждает и заставляет всплыть на поверхность куртизанку, всегда таящуюся в глубине матроны. Она бросает также шляпу, шляпу в двести франков, вглубь комнаты, потягивается и восклицает из глубины души: «Ah oui, que c'est bon de se désembêter!»¹⁾

А потом, как говорят испанцы, *la mar*²⁾. Солнце, в тот день прощаясь с землей, оставило их еще в Вирофлэ, еще в таверне, еще в комнате и в другой раз за столом, за укрепляющим бифштексом, как того требовали события с необходимостью логики.

Версаль забыт! Дело шло о возвращении на станцию, чтобы попасть на поезд в Париж. Она медленно завязывает ленты шляпы, берет цветок с окна и прикалывает к корсажу, обводит взором комнату, альков, чтобы все запомнить и запечатлеть в памяти — и они уезжают. На станции, вскакивая в другое отделение (в виду приближе-

¹⁾ «Ах, как хорошо бывает развлечься».

²⁾ «Открытое море, простор».

ния к Парижу), Шамбрэ, уже наскоро и слабо пожимая ей руку, умоляет сказать, по крайней мере, свое имя. Она шепчет — Люси.

— И это все, что я знаю о ней, — заключил Шамбрэ, зажигая сигару. — И знаю также, что она замужем, потому что на вокзале Сен-Лазар ее ожидал, в сопровождении важного выездного лакея из буржуазного дома, муж, *gastacuerdo*¹⁾, шоколадного цвета, с редкой бородкой, громадной жемчужиной в галстук. . . Возмущенный, я был восхищен, когда она передала ему большой букет желтых гвоздик, который я велел ей приготовить в Вирофлэ. . . Восхитительная женщина. Такие бывают только французенки!

Что скажете Вы об этих глубокомысленных вещах, мой добрый Рамальо? Я говорю, что в общем наш мир безупречен, и другого, более благоустроенного, нет во всем мировом пространстве. Потому что, заметьте, в конце этого майского воскресенья все эти три превосходные существа получили из-за простого путешествия в Версаль положительный выигрыш в жизни. Шамбрэ испытал громадное удовольствие и громадное удовлетворение тщеславия — два единственные результата, какие он ценит в существовании, как солидную выгоду, из-за которой стоит труда жить. Мадам узнала новое и неиспытанное ощущение; оно успокоило ей нервы, проветрило и дало ей возможность вернуться умиротворенной к ее монотонному очагу, чтобы с удвоенной энергией заботиться о своих домашних. А аргентинец приобрел новое и торжественное доказательство, как он любим и счастлив в своей избраннице. Трое счастливых после этой весенней загородной прогулки. И если в результате будет сын (сын, которого так желает аргентинец), который унаследует все здоровые и блистательные галльские качества Шамбрэ, это не только даст личное удовлетворение всем троим, но и принесет действительную пользу обществу. Итак, этот мир превосходно устроен.

Верный друг, который ждет вас по возвращении из Голландии — Фрадик.

¹⁾ Иностранец, живущий на широкую ногу (употребляется с презрительным оттенком).

VII.

Госпоже Жуарр.

(Пер.)

Лисабон, март.

Моя милая крестная!

Вчера глубокой ночью в поезде, когда я подъезжал к Лисабону (направляясь с севера из Порто), я с испугом вспомнил о моей клятве в пасхальную субботу в Париже, клятве, данной с благоговейно простертой рукой над Вашим чудным изданием «Обязанностей» Цицерона, присылать Вам еженедельно по почте «описания, заметки, размышления и картины» Португалии, как говорится в подзаголовке «Путешествия по Швейцарии» Вашего друга барона Фернэ, командора Карла IV и члена Тулузской Академии. И я так точно исполняю мои клятвы (данные над «Обязанностями» Цицерона и для удовольствия той, которая царит над моей волей), что едва я их вспомнил, как тотчас же открыл широко оба глаза, чтобы собирать «описания, заметки, размышления и картины» этой земли, моей земли, которая *está á la disposicion de'usted*¹⁾. . . Мы подехали к станции под названием Сакавен — и мои вытаращенные глаза увидели в моей стране сквозь мокрые стекла вагона всего на-всего густые сумерки, где тускло всплывали то там, то тут далекие и неясные огоньки. Это были фонари фелук, дремлющих на реке, и очень унизительно символизировали те скудные и чахлые частицы положительной истины, что дано человеку открыть во всемирной тайне Существования. Итак, я снова закрыл покорно глаза, пока не появился в дверях человек в фуражке с галуном, в промокшем сюртуке и не потребовал моего билета, называя меня Ваше Превосходительство²⁾. В Португалии мы все благородные, дорогая крест-

¹⁾ «К Вашим услугам».

²⁾ Португальцы при обращении не употребляют местоимения «вы». Нежливая форма обращения у них — *Vossa Excellencia*, что значит Ваше Превосходительство.

ная, все составляем часть государства и все зовем друг друга Ваше Превосходительство.

Это был Лисабон, шел дождь. Нас мало ехало в поезде, может быть, человек тридцать — все люди простые, с легкими чемоданами и холщевыми мешками. Все прошли очень скоро через отеческий и сонливый таможенный дозор и тотчас скрылись по направлению города под покровом влажной мартовской ночи.

В мрачном вокзале в ожидании остального багажа остались я, Смис¹⁾ и сухопарая дама с очками на носу, закутанная в старый меховой плащ. Было, должно быть, два часа утра. Грязный асфальт вокзала леденил ноги.

Я не знаю, сколько веков мы так ждали, Смис неподвижно, я и дама быстро ходя, чтобы согреться, вдоль деревянного прилавка, около которого два таможенных сторожа, темные как оливки, с достоинством зевали. Из двери в глубине вкатилась, наконец, тяжелая тележка, на которой колебалась гора нашего багажа. Дама с журавлиным носом тотчас узнала свой жестяной ящик; крышка его откинулась и открыла моим наблюдательным глазам (к Вашим услугам, требовательная крестная!) грязный пенуар, коробку конфет, молитвенник и двое щипцов для завивки. Сторож погрузил руку в эти интимные вещи и с милостивым жестом объявил, что таможня удовлетворена. Дама скрылась.

Мы остались одни, Смис и я. Смис с трудом собрал мой багаж. Но непонятным образом не хватало одного кожаного саквояжа; и в тишине носильщик с багажной квитанцией в руке медленно осматривал бочки, тюки, пакеты, старые баулы, наваленные в глубине у запачканной стены. Я видел, как этот достойный человек нерешительно медлил около свертка в парусине, перед сосновым ящиком. Может быть, один из них и был кожаным саквояжем? Потом, придя в отчаяние, он объявил, что действительно среди наших вещей не было ни кожи, ни саквояжа. Возмущенный Смис протестовал. Тогда начальник вырвал багажную квитанцию из неловких рук носильщика и начал со своей более высокой толковостью на-

¹⁾ Старый камердинер Фрадика-Мендеша (Прим. автора).

чальника новые поиски по всему багажу, старательно исследуя ящики, лохани, бочки, картонки для шляп, корзины, жестянки и бутылки... Наконец, он пожал плечами с невыразимой тоской и исчез в темноте внутренних платформ. Через несколько мгновений он вернулся, почесывая голову под фуражкой и ища взором вокруг по пустому полу в ожидании, что саквояж выскочит из недр этого несчастного земного шара. Ничего! В нетерпении я начал сам ожесточенно обыскивать помещение. Таможенный сторож, с папиросой, присосавшей к губам (милый человек!) бросал также туда, сюда начальственный взгляд помощи. Ничего! Но неожиданно, женщина с красным платком на голове, бродившая тут же в этот тусклый предрастветный час, сказала, указывая по направлению двери станции:

— Может быть, это он?

Он! Это был мой саквояж, снаружи на платформе, под мелким дождем. Я не допытывался, каким образом он оказался там один, отдельно от багажа, хотя на нем был точно наклеен порядковый номер, напечатанный в багажной квитанции большими буквами, и потребовал экипаж. Носильщик натянул куртку поверх головы, вышел на площадь и скоро вернулся, меланхолично возвещая, что экипажей нет.

— Нет! Это занято! Тогда как же уезжают отсюда пассажиры?

Тот пожал плечами. «Иногда есть, другой раз нет, как случится»... Я блеснул монетой в пять туштанов и умолял этого почтенного человека обегать окрестности вокзала и поискать какое-нибудь средство передвижения на колесах, коляску или карету, которая привезла бы меня в убежище, где бы я нашел бульон и огонь в камине. Он ушел, ворча. И тотчас, как недовольный патриот, я стал критиковать (повернувшись к начальнику и таможенному служащему) беспорядочность этого учреждения. На всех станциях всего мира, даже в Тунисе, даже в Румынии, при прибытии поездов есть omnibusы, экипажи, тележки, чтобы перевозить людей и багаж... Почему же их нет в Лисабоне? Вот ужасное учреждение, которое позорит нацию!

Таможенный служащий изобразил жестом уныние, как будто сознавая ясно, что все учреждения ужасны и все отечество в непоправимом беспорядке. Потом, чтобы утешиться, он с наслаждением закурил папирску. Так прошли те четверть часа, что оставляют морщины на человеческом лице.

Наконец, носильщик вернулся, отряхиваясь от дождя и уверяя, что во всем квартале св. Аполлонии¹⁾ нет экипажа.

Но что же мне делать? Остаться здесь?

Начальник посоветовал мне оставить багаж и на следующее утро забрать его уже наверное с коляской (которую можно заказать, получив в этом квитанцию) «к полному моему удовольствию». Эта разлука с багажом, однако, не обеспечивала моего комфорта. В таком случае он не видел выхода, если только случайно какая-нибудь запоздавшая или заблудившаяся коляска не проедет в этих местах.

Тогда, подобно потерпевшим кораблекрушение на пустынном острове Тихого Океана, мы все столпились у двери станции, ожидая сквозь туман паруса, т. е., я хочу сказать, спасительной коляски. Горькое ожидание, бесплодное ожидание! Нигде не виднелось света фонаря, нигде стук колес не нарушал безмолвия этой пустыни.

Соскучившись, вполне соскучившись, начальник объявил, что «сейчас будет три часа, и он собирается закрыть станцию». А я? Я останусь там на улице среди мрачной ночи, прикованный к куче громоздкого багажа? Нет. В глубине души достойного начальника, наверное, было больше милосердия. Растроганный, он вспомнил другой исход. Состоял он в том, чтобы мы, я и Смес, при помощи носильщика взвалили багаж на плечи и пошли в отель. Действительно, это казалось единственным выходом из наших несчастий. Однако (до такой степени спина, избалованная долгими и изнеживающими годами цивилизации, отказывается носить тяжести, и так упорна надежда тех, кому судьба всегда оказывала благоволение), я и Смес еще раз вышли на улицу; и, молча склонив ухо

¹⁾ Вокзал в Лисабоне.

к мостовой, мы вглядывались в темноту и с тревогой слушали, не катится ли к нам издалека коляска, ниспосланная нам провидением. Ничего, безнадежно! Ничего не слышно в скупой темноте! Моя дорогая крестная, пока Вы следите за этими приключениями, у Вас на глазах уже должны дрожать слезы сострадания. Я не плакал, но мне было стыдно, бесконечно, до боли стыдно перед Смисом! Что подумает этот шотландец о моей родине и обо мне, его хозяине, частице этой дезорганизованной родины? Нет ничего более хрупкого, чем репутация наций. Не случилось ночью простого извозчика, и вот в уме иностранца дискредитирована вся вековая цивилизация!

Между тем начальник кипятился. Было три часа (даже три с четвертью), и он хотел закрывать станцию! Что делать? Вздыхая, мы решились на отчаянный выход. Я схватил портплед и сверток с пальто; Смис вскинул на свои почтенные, незнакомые с тяжестью плечи большой кожаный чемодан; носильщик стонал под бременем громадного сундука с медными скобами. И (оставив еще два пакета на завтра) мы мрачно потащились гуськом и пешком по пути от вокзала св. Аполлонии до Отеля Браганса! Пройдя несколько шагов, я взвалил на плечи портплед, потому что он вытягивал мне руку... И все трое с опущенной головой, со спиной, раздавленной десятками кило, с упорным намерением повредить себе печень, мы продолжали медленной, мрачной вереницей двигаться вглубь столицы этого королевства! Я приехал в Лисабон с намерением отдохнуть и пожить с комфортом. Вот так комфорт, вот так отдых! Работать, как грузчик, под непрерывающим дождем, задыхаясь, обливаясь потом, спотыкаясь на плохой мостовой темной улицы!..

Не знаю, какую часть вечности мы потратили на этот скорбный путь. Знаю только, что вдруг (как будто наш ангел хранитель управлял ею) настоящая коляска вынырнула из темного переулка. Три жадных, отчаянных вопля остановили экипаж. И один за другим чемоданы полетели каскадом в коляску, в ноги кучеру: захваченный врасплох и напуганный, он поднял кнут и яростно ругался. Но тотчас успокоился, поняв свое страшное мо-

гущество, и объявил, что в Отель Браганса (расстояние немного большее, чем все Елисейские Поля) меньше, чем за 3000 рейс он меня отвезти не может. Да, моя крестная, восемнадцать франков! Восемнадцать франков звонкой монетой, серебром или золотом, за переезд в этот демократический и промышленный век, после всех тягостных усилий Науки и Революции уравнивать и удешевить социальный комфорт. Дрожа от гнева, но покорный, как человек, который уступает требованиям, подкрепленным мушкетом, я влез в коляску, почувствованно распрощавшись с носильщиком, верным товарищем нашей трудовой ночи.

Наконец, мы поехали отчаянным галопом. Через несколько минут мы уже осаждали дверь спавшего Отеля Браганса звонками, криками, ударами кулака, упраниванием, проклятиями, воплями, всеми возможными видами насилия и увещания. Напрасно! Золотые ворота замка Счастья не долгие сопротивлялись рыцарю Парсифало! Тогда кучер стал колотить ногами. И, повидимому, понимая лучше этот язык, уstraшенная дверь медленно повернулась на своих петлях. Хвала тебе, боже, мой отец многомилостивый! Наконец-то мы под кровом, среди ковров и штукатурки цивилизации, после такого ужасного путешествия. Оставалось заплатить кучеру. Я подошел к нему, говоря с едкой иронией:

— Итак, три тысячи рейс?

При свете ламп вестибюля, ударявшего мне в лицо, он улыбнулся. И что же мне ответил этот бесподобный бездельник?

— Это только так говорилось... Я не узнал синьора Дон-Фрадика... С синьора Дон-Фрадика столько, сколько он пожелает.

Ни с чем несравнимая низость! Я почувствовал тотчас, как какое-то глупое умиление размягчило мне сердце. Это была мягкотелость, распушенность и слабость, которая связывает нас всех, португальцев, наполняет нас преступным попустительством по отношению друг к другу и непоправимо разрушает среди нас всякую дисциплину и всякий порядок. Да, моя милая крестная... Этот разбойник знал синьора Дон-Фрадика. И он улыбался зайски-

вающе и плутовато. Мы оба были португальцы. Я дал целый фунт этому разбойнику!¹⁾

Вот Вам, для Вашего поучения, правдивое описание способа, каким вступают в последней четверти XIX века в великий город Португалии. Весь Ваш, тот, кто вдали всегда томится без Вас

Фрадик.

VIII.

Господину Е. Моллинэ.

Директору Историко-Биографического Обозрения.

Париж, сентябрь.

Дорогой господин Моллинэ!

Вчера вечером по возвращении из Фонтенбло я нашел Ваше письмо, где Вы, мой ученый друг, от имени и в интересах Историко-Биографического Обозрения спрашиваете меня, что это за человек мой соотечественник Пашеко (Жозе-Жоакин Алвеш-Пашеко), чью смерть так горько и пространно оплакивают португальские газеты. И еще Вы желаете знать, какие труды, или учреждения, или книги, или идеи, или какое приращение португальской цивилизации оставил после себя Пашеко, сопровождаемый в могилу такими громкими и почтительными рыданиями.

Я случайно был знаком с Пашеко. Его фигура и жизнь стоят передо мною, как на картине. Пашеко не дал своей стране ни одного труда, ни учреждения, ни книги, ни идеи. Пашеко был велик и знаменит между нами только благодаря своему громадному таланту. И тем не менее, мой дорогой Моллинэ, этот талант, который с такой гордостью признавали два поколения, никогда не обнаружил действительно, выразительно и видимо свою силу! Громадный талант Пашеко оставался всегда безмолвно скрытым в недрах Пашеко! всю жизнь он находился на социаль-

¹⁾ Английские фунты, за отсутствием золота в Португалии, имеют обязательное хождение в стране.

ных вершинах: Депутат, Главный Директор, Министр, Управляющий Банками, Статский Советник, Пэр, Председатель Совета Министров — Пашеко был всем, всем обладал в этой стране, где все издали, у его ног, созерцали его, пораженные этим громадным талантом. Но, занимая эти должности, ни разу, ни для своей пользы, ни по государственной необходимости, ему не пришлось обнаружить этот громадный талант, от которого он задыхался, чтобы упрочить его и дать ему проявиться во-вне. Когда друзья, партии, печать, правительственные установления, общественные организации — вся масса нации, шепча вокруг Пашеко: «какой громадный талант!», убеждали его увеличить свою власть и богатство, Пашеко улыбался, опустив серьезные глаза под золотыми очками, и продолжал подниматься все выше на вершины учреждений со своим громадным талантом, запертым в его черепе, как в сундуке скупца. И стране было достаточно этой сдержанности, этой улыбки, этого блеска очков, потому что она чувствовала в этом талант и наслаждалась яркой очевидностью его.

Этот талант родился в Коимбре, в аудитории естественного права, в то утро, когда Пашеко, презрев Себенту, утверждал, «что девятнадцатый век — век прогресса и света». Однокурсники почувствовали, что Пашеко очень талантлив и тотчас стали провозглашать это в кафе площади Фэйра¹⁾: и возрастающее с каждым днем преклонение однокурсников сообщалось, как всякое религиозное движение — от впечатлительных к рассудительным — от студентов к профессорам, и Пашеко без труда получил в конце года награду. Слава об этом таланте распространилась по всему Университету, и, при виде Пашеко, всегда задумчивого, уже в очках, степенно шагающего под руку с толстыми юристами, все чувствовали во всем этот великий дух, который сосредоточивается и крепнет внутренней своей силой. Это поколение ученых, рассеяв по самым глухим городкам, разнесло повсюду весть о громадном таланте Пашеко. И в самых захолустных аптеках Траз-ош-монтеш, в лавках болтливых брадобреев

¹⁾ Одна из главных площадей в Коимбре (Ярмарочная площадь).

Алгарва¹⁾ говорили с почтительностью и надеждой: «Нажется, там теперь кончил курс юноша с громадным талантом, по имени Пашеко!»

Пашеко созрел для национального представительства. Он очутился в его рядах, привлеченный правительством (не помню, каким), которому удалось путем затрат и хитростей завладеть талантом Пашеко. Вскоре, в один звездный декабрьский вечер в Лисабоне, когда он пил чай с гренками у Мартиньо, по всем столикам раздался шепот любопытных: «Это Пашеко, молодой человек с громадным талантом!» И как только собрались Палаты, все взоры, и правительства и оппозиции, стали настойчиво и тревожно обращаться к Пашеко: он же, сидя на конце скамьи, все сохранял вид замкнутого мыслителя со скрещенными на бархатном жилете руками, с головой, склонившейся на бок, словно под бременем внутренних богатств, и поблескивал очками... Наконец, однажды вечером, при обсуждении ответа на тронную речь, у Пашеко как будто было движение остановить косого священника, произносившего речь о «свободе». Священнослужитель тотчас почтительно остановился: стенографисты наводрили жадно уши: вся Палата перестала без стеснения шептаться, чтобы в достойной и торжественной тишине мог обнаружиться в первый раз громадный талант Пашеко. Но Пашеко не тотчас расточил свои сокровища. Стоя с поднятым пальцем (его обычный жест), Пашеко изрек тоном, где была видна уверенность мысли и непоколебимое знание, что «рядом со свободой всегда должна существовать власть!» Это было, конечно, немного, но палата хорошо поняла, что в этом кратком резюме был целый мир, огромный мир глубоких идей. В продолжении нескольких месяцев он ничего не говорил, но его талант внушал тем больше уважения, чем незримей и недоступней он таился там внутри, в богатой и содержательной глубине его существа. Единственное средство, к которому оставалось прибегать его поклонникам (а их у него уже было бесчисленное множество) — это созерцать голову

¹⁾ Траз-ош-Монтеш — провинция на северо-востоке Португалии («За горами»). Алгарв — провинция на юге Португалии.

Пашеко, как смотрят на небо в уверенности, что там есть правящий бог. Череп Пашеко представлял громадную угловатую и блестящую поверхность. И много раз советники и директора бормотали около него в восхищении: «Больше ничего и не надо! Достаточно посмотреть на эту голову!»

Пашеко скоро вошел в главные комиссии парламента. Однако, ему ни разу не привелось доложить какой-нибудь законопроект, так как он презирал специализацию. Лишь иногда, молча, он медленно делал заметку. И если он выходил из своей сосредоточенности, то только для того, чтобы, подняв палец, бросить какую-нибудь общую мысль о Порядке, Прогрессе, Поощрении, Экономии. В этом была очевидная поза громадного таланта, который (как шушукались его друзья, хитро подмигивая глазом), «пока что витает там наверху». Пашеко сам, впрочем, учил (изображая толстой рукой полет птиц над густыми деревьями), что «истинный талант должен знать вещи в общих чертах».

Этот огромный талант не мог не придти на помощь Коронным Советам. Пашеко после одного из министерских кризисов (вызванного воровством) был назначен министром: и тотчас же обнаружилось, какую солидную опору дал власти громадный талант Пашеко. В своем министерстве (морском) он в продолжение долгих месяцев управления «абсолютно ничего» не делал, как инсинуировали три или четыре озлобленных, узко позитивных ума. Но в первый раз нация за время существования колониального режима перестала беспокоиться и опасаться за наши колониальные владения. Почему? Потому что она почувствовала, что высшие интересы этих владений были доверены громадному таланту Пашеко.

В министерском кресле Пашеко очень редко выходил из своего, полного глубокого смысла, молчания. Но иногда, когда оппозиция слишком шумела, Пашеко вытягивал руку и делал медленно заметку карандашом: и этой заметки, начертанной со знанием и основательно продуманной, было достаточно, чтобы смутить и озадачить оппозицию. Дело в том, что громадный талант Пашеко стал вносить в палатах, комиссиях, в учреждениях, паниче-

ский ужас! Горе тому, над кем раздражался этот громадный талант! Его унижение было непоправимо! Это горестно испытал на себе один педагог, осмелившийся однажды обвинить господина Министра Внутренних Дел (Пашеко уже был Министром Внутренних Дел) в том, что он пренебрегает просвещением страны! Никакое обвинение не могло быть более чувствительным для этого огромного ума, который учил в сочной и лапидарной фразе, что «народ без образования — несовершенный народ». Подняв палец (обычный его жест), Пашеко поразил дерзкого ужасными словами: «Я должен сказать выдающемуся депутату, который меня критикует, только одно: пока вы здесь, на ваших скамьях, галдите по вопросу о народном образовании, я с этого кресла распространяю свет!» Я присутствовал на галлее при этом великолепном событии. И я не zapomню, чтобы мне приходилось слышать когда-либо на собраниях людей такой страстный и бурный взрыв одобрений! Кажется, через несколько дней после этого Пашеко получил большой крест ордена Святого Иакова.

Громадный талант Пашеко мало-по-малу стал национальным символом веры. Видя, какую непоколебимую опору дает этот талант учреждениям, которым он служит, все жаждали иметь его в своих рядах. Пашеко сделался Директором всех Компаний и Банков. Нужный Короне, он проник в Государственный Совет. Его партия настойчиво требовала, чтобы Пашеко стал во главе ее. Но и другие партии с униженным почтением ежедневно пользовались этим громадным талантом. В Пашеко мало-по-малу сконцентрировалась вся нация.

По мере того, как он старелся, достигая всё большего влияния и больших почестей, преклонение пред его громадным талантом приняло в стране определенные формы, свойственные только религии и любви. Когда он стал Председателем Совета Министров, его поклонники прижимали благоговейно руку к груди и закрывали глаза, набожно шепча: «Какой талант!» А влюбленные, закрыв глаза и целуя кончики сжатых пальцев, томно шептали: «Ах, какой талант!» И к чему скрывать? Были и такие, которых этот громадный талант раздражал и

озлоблял, как преувеличенная и несоразмерная привилегия. Я слышал, как они кричали, в ярости стуча по полу ногой: «Чорт возьми, вот что значит иметь чересчур много таланта!» Пашеко в то время уже не говорил. Он только улыбался. А голова у него становилась все больше и больше.

Я не стану напоминать Вам его удивительную карьеру. Достаточно, если Вы, дорогой господин Моллине, просмотрите наши анналы. На всех учреждениях, реформах, трудах и делах Вы найдете печать Пашеко. Вся Португалия, и в области морали, и в области общественности, полна Пашеко. Он был всем, и всё у него было. Конечно, он обладал громадным талантом! Но и велика была признательность его отечества! Пашеко и Португалия, в конце концов, были невозможны друг без друга и точно дополняли одна другую. Без Португалии Пашеко не был бы тем, чем он был среди людей: но без Пашеко — Португалия не была тем, чем она была среди наций!

Его старость носила величественный характер. Он окончательно потерял все волосы. Он весь превратился в одну голову. И больше, чем когда-либо, он обнаруживал свой громадный талант — даже в мелочах. Я очень хорошо припоминаю один вечер (он был тогда Председателем Совета Министров), когда в гостиную графини Арродеш кто-то настойчиво хотел узнать, что думает его превосходительство о Кáновас-дель-Кастильо¹⁾. Безмолвно, поучительно, едва улыбаясь, его превосходительство степенной рукой слегка пересек горизонтально воздух. И вокруг раздался продолжительный и удивленный ропот восхищения. Сколько основательно продуманной тонкости в этом жесте! Что касается меня, то после долгого размышления я так объяснил его себе: «посредственность, средняя величина, господин Кáновас!» Заметьте себе, дорогой г. Моллине, насколько тонок этот талант при всей своей широте!

Он испустил дух — то есть, я хотел сказать, его превосходительство умер — почти неожиданно, без страда-

¹⁾ Талантливый испанский государственный деятель (1828—1897).

ний, в начале этой суровой зимы. Его только-что хотели сделать маркизом де-Пашеко. Вся нация оплакивала его с бесконечной скорбью. Он покоится на кладбище святого Иоанна под мавзолеем, на котором по мысли советника Акасио¹⁾ (в письме к редактору Дневника Новостей) высечена фигура Португалии, оплакивающей Геня.

Несколько месяцев после смерти Пашеко я встретил его вдову в Синтре, в доме доктора Видэйры. Это (как уверяют мои друзья) женщина превосходного ума и доброты. Исполняя долг португальца, я выразил свое соболезнование выдающейся и любезной синьоре по поводу непоправимой потери, понесенной ею и родиной. Но когда, растроганный, я упомянул о «громадном таланте Пашеко», вдова его подняла с внезапным испугом опущенные до тех пор глаза, и беглая, печальная, почти сострадательная улыбка приподняла края бледного рта... Вечный разлад человеческих судеб! Эта заурядная дама так и не поняла этого громадного таланта!

Верьте, мой дорогой господин Моллинэ, что я всегда Ваш Фрадик.

IX.

Кларе...

(Пер.)

Париж, июнь.

Обожаемый друг!

Нет, не в марте на Выставке Акварелистов я по воле судеб встретился с Вами. Это было зимой, обожаемый друг, на балу у Трессанов. Там я увидел Вас: Вы разговаривали с госпожой Жуарр, и свет канделябров, окруженных букетами орхидей, накладывал на Ваши волосы золотой нимб, принадлежащий по праву Вам, «царице красоты среди женщин». Я с благоговением храню воспоминание о Вашей усталой улыбке, черном платье с отделкой цвета золотистых бутонов, о старинном веере,

¹⁾ Действующее лицо романа Эсы-де-Кайрош «Кузен Базилио» — тип ограниченного и напыщенного педанта-чиновника.

сложенном на коленях. Я прошел мимо, и сразу все кругом показалось мне непоправимо скучным и безобразным; и я вернулся, чтобы снова любоваться Вашей красотой, снова безмолвно размышлять о ней, потому что она захватила меня своим открытым и понятным блеском, и еще, не знаю, чем-то изящным, одухотворенным, грустным и нежным, что светило в ней и исходило из души. И я так глубоко ушел в это созерцание, что унес в себе Ваш цельный образ, не забыв ни одной пряди Ваших волос, ни одной складки шелка, одевавшего Вас. В волнении я поспешил уединиться с ним, как художник, открывший в темном углу какой-нибудь лавчонки, среди пыли и черепков, великое творение совершенного мастера.

И почему бы не признаться? Сначала этот образ был для меня просто картиной, висящей в глубине моей души: на нее я с удовольствием смотрел каждую минуту, но только для того, чтобы с возрастающим изумлением прославлять очарование линий и красок. Это было редкостное полотно, стоящее в святой святых, недвижимое и немое в своем великолепии: и действовало она на меня только своей прекрасной формой, пленительной для очень изысканного вкуса. Существо же мое продолжало жить свободно, воспринимая все, что и раньше прельщало его любопытство, доступное всем чувствам, которые им раньше владели. — И только когда я уставал от всего несовершенного, или жаждал иных более чистых помыслов, я возвращался к живущему во мне образу: так Фра Анжелико в монастыре, сложив в конце дня кисти, склонял колени пред Мадонной и просил об успокоении и вдохновении свыше.

Мало-по-малу, однако, все, кроме этого поклонения, потеряло для меня цену и прелесть. Я все более уединялся со своей душой, где сиял этот образ: и я до того погрузился в созерцание его, что только это занятие стало казаться мне достойным жизни. Всё остальное в мире я считал лишь неверной видимостью, как монах, чуждый всему мирскому, стоит неподвижно в келье на коленях, охваченный своей мечтой, единственной для него действительностью.

Но это не было, мой обожаемый друг, бледным и пассивным экстазом перед Вашим образом. Нет! Сначала я мучительно и неустанно изучал его, старался в Форме познать Сущность и (так как красота есть отражение правды) вывести из совершенства Вашего тела величие Вашей души. И таким образом я постепенно открыл тайну Вашей природы: Ваша голова с такими светлыми и блестящими волосами тотчас поведала мне о верности Вашего мышления; Ваша улыбка, полная духовного благородства, легко открыла мне Ваше презрение к мирскому и эфемерному, Ваше неустанное стремление к правде и красоте; каждое Ваше грациозное движение выдавало изящество Вашего вкуса, и в Ваших глазах я различил то, что в них так прелестно сочетается: луч разума и сердечную теплоту, луч, который так греет, теплоту, которая так освещает... Уже одной уверенности в стольких совершенствах было бы достаточно, чтобы преклонить навсегда пред Вами самые негибающие колени. Но случилось еще, что по мере того, как я Вас познавал, и передо мной обнаруживалась Ваша сущность, видимая и почти осязаемая, от Вас на меня исходило влияние, влияние странное, несравнимое ни с каким человеческим влиянием, и оно властно покорило меня. Как бы Вам это объяснить? Монах в келье души моей, я стал стремиться к святости, чтобы стать достойным Святой, которой я себя обрек, и заслужить совместную с ней жизнь. Тогда я проделал суровую проверку своей совести. С беспокойством исследовал, была ли моя мысль так же чиста, как и Ваша, не было ли в моих вкусах дисгармонии, оскорбительной для Вашего вкуса; так ли высоки и серьезны мои воззрения на жизнь, какие я чувствовал в одухотворенности Вашего взора, Вашей улыбки; не слишком ли много я растерял из своего сердца, не слишком ли я ослабил его, чтобы оно могло биться с одинаковой силой около Вашего. И во мне было напряженное стремление достичь совершенства, равного тому, которое я так рабски обожаю в Вас.

Таким образом Вы, мой дорогой друг, сами не зная того, сделались моей воспитательницей. И я так завишу от этого управления, что уже не могу представить себе

моих душевных движений иначе, как только руководимых и облагораживаемых Вами. Я отлично знаю, что все сколько-нибудь ценное во мне — мысль, чувство — является результатом этого влияния на меня Вашей души. Уже одним своим существованием, своей понятностью она издали оказывает на меня это воспитывающее действие. И если теперь меня оставит Ваше влияние, скажу, даже, как аскет: — Ваша благодать — Я паду низко и без возврата. Поэтому посудите, как Вы мне нужны и драгоценны... И примите во внимание, что для того, чтобы оказывать это спасительное действие, вовсе не надо было Вашим рукам прикоснуться к моим. Достаточно мне было увидеть Вас издали блистающую на празднике. Так дикий кустарник растет на краю рва, потому что там наверху в далеких небесах светит больше солнце: оно его не видит, не знает и великодушно дает ему расти, расцветать и изливать свой недолгий аромат... Поэтому любовь моя имеет тот неописуемый и безымянный характер, какой носило бы чувство, испытываемое растением к свету, если бы оно обладало сознанием.

И еще примите во внимание, что нуждаясь в Вас, как в свете, я ничего не прошу, ни о каком благе не молю Вас, хотя Вы так много можете, хотя для меня Вы царица всех благ. Я только хочу, чтобы Вы позволили мне жить под этим влиянием, которое, исходя из Вашего сияющего совершенства, так легко и нежно творит дело моего совершенствования. Я только прошу милостиво разрешить мне это. Посмотрите, как далеко в тени держусь я, в глубоком преклонении, боясь, чтобы даже шопот молитв не коснулся одежды божественного образа...

Но если Вы, мой дорогой друг, уверившись в моем отречении от всякой земной награды, позволите мне когда-нибудь наедине с Вами излить исповедь моей взволнованной души, Вы, конечно, совершите акт несказанной милости, как некогда Дева Мария, когда хотела ободрить своих поклонников, отшельников и святых, сходила в облаке и дарила им мимолетную улыбку или роняла в их поднятые руки райскую розу. Так, завтра я проведу вечер с госпожей Жуарр. Там нет благоговейности кельи или отшельничества, но почти есть их уединенность. И

если Вы, мой дорогой друг, появитесь в полном блеске, и я получу от Вас даже не розу, а только улыбку, я найду в этом радостное подтверждение, что моя любовь, или мое невыразимое и безымянное чувство, которое простирается дальше любви, находит в Ваших глазах жалость и разрешение надеяться.

Фрадик.

Х.

Госпоже Жуарр.

Пер.)

Лисабон, июнь.

Добрейшая крестная!

Вот что, начиная с мая, «видел и делал» в прекраснейшем Лисабоне, Ulyssipo pulcherrima, Ваш удивительный крестник. Я открыл одного соотечественника и родственника с Островов¹⁾. Он живет уже три года в третьем этаже меблированного дома на улице Палья, создавая философскую систему. Сторонник общих идей, с умом свободным, предприимчивым и ловким, мой родственник, по имени Прокопио, понял, что женщина не стоит причиняемых ею мучений, и что восемьсот тысяч рейс доходу с оливковых плантаций должны вполне удовлетворять человека, особенно спиритуалиста, и поэтому посвятил свою жизнь Логике, интересуется только Правдой и о ней только печалится. Это веселый философ: когда беседует, не кричит, и есть у него прекрасная мускатная водка. И я охотно забираюсь два-три раза в неделю в его кухню метафизики, чтобы узнать, узрел ли он, наконец, руководимый нежной душой Мэна де-Биран²⁾, его проводника в странствованиях по бесконечному, сбросившую с себя последние покрывала первопричину всего сущего. Во время этих душевспасительных визитов я постепенно знакомлюсь с некоторыми обитателями третьего

этажа улицы Палья, где они наслаждаются прелестями городской жизни за двенадцать туштанов в день без вина и стирки. Почти все профессии среднего класса Португалии верно представлены здесь, и я имею возможность без особого труда, как по указателю, изучать чувства и мысли, которые в текущем году составляют моральный фонд нации.

Этот меблированный дом имеет много приятного. В комнате кузена Прокопио есть новая цыновка, железная кровать философа и девственника, яркий муслин на окнах, розы и птицы на обоях, и содержится она в строгой опрятности одною из тех служанок, которых производит только Португалия, прекрасной девушкой из Траз-ош-Монтеш. Волоча туфли, степенная и бесстрастная, как латинская нимфа, она подметает, чистит и убирает весь этаж: подает девять завтраков, девять обедов, девять порций чаю; моет посуду; пришивает к брюкам и кальсонам пуговицы, вечно теряемые португальцами; гладит юбки хозяйки: читает молитву своей деревни; и у нее остается еще время любить без ума соседнего парикмахера, но он женится на ней только тогда, когда получит место в таможне (и все это за три тысячи рейс жалованья). На завтрак подаются два блюда, здоровые и сытные: яйца и бифштекс. Вино поставляет крестьянин, легкое и молодое вино, приготовленное по почтенным рецептам Георгик и, вероятно, похожее на вино Ретик — quo te carmina dicam Rethica¹⁾? Поджаренные на сильном огне гренки — несравненны. Четыре картины украшают столовую: портрет Фонтеша²⁾ (государственный муж, уже скончавшийся и чтимый португальцами), изображение папы Пия IX, благословляющего с улыбкой, вид равнины Колареш³⁾; на четвертой две девицы целуют горлицу — всё это внушает здоровые и

¹⁾ «Какими стихами воспою тебя, вино Ретик» — стих из «Георгик» Вергилия (II. 95—96).

²⁾ Фонтеш-Перейра-де-Мело (Антонио де-) — португальский государственный деятель (1819—1887), бывший шесть раз министром-президентом; ему страна обязана разными полезными реформами.

³⁾ Местечко недалеко от Лисабона, славящееся своим вином.

¹⁾ То-есть Азорские острова, родина Фрадика-Мендеша.

²⁾ Мэн-де-Биран — французский психолог и философ (1766—1824).

полезные мысли об общественном порядке, вере, сельском мире и невинности.

Хозяйка, дона Паулина Сориана, дама сорока лет с ослепительной шеей, свежая и круглая, более белоснежная, чем ее пенюар, надетый поверх юбки из сиреневого шелка. Она производит впечатление прекрасной женщины, матерински терпеливой, со здравым умом и здоровой бережливостью. Не будучи в строгом смысле вдовой, она имеет уже тоже толстого сына: он грызет ногти и учится в лицее. Зовут его Жоакин, а уменьшительное его имя Кизиньо. Этой весной он страдал каким-то злым недугом и потому был принужден без конца пить оршады и принимать ванны. Дона Паулина хочет сделать из него бюрократа, так как считает, и не без основания, эту службу наиболее верной и легкой карьерой.

— Самое главное для юноши — (утверждала несколько дней тому назад после завтрака неоценимая синьора, положив ногу на ногу) — иметь покровителя и захватить местечко, тогда дело в шляпе: и работы мало, и жалованье аккуратно уплачивают в конце месяца.

Но дона Паулина спокойна за карьеру Кизиньо. Благодаря влиянию (оно всесильно в этом королевстве) надежного друга, советника Ваша-Нето в Министерстве Общественных Работ или Юстиции, уже имеется стул писца, отмеченный платком и охраняемый в ожидании Кизиньо. И так как Кизиньо не выдержал последних экзаменов, советник Ваш-Нето уже указал, что при такой лени и малой охоте к науке, Кизиньо самое лучшее было бы не настаивать на занятиях в лицее, а поступить тотчас в департамент...

— И все-таки (прибавила добрейшая синьора, почтив меня своей откровенностью), я хотела бы, чтобы Кизиньо кончил курс. Не из нужды и не имея в виду должность, как вы видите, но просто потому, что это мне нравится.

Итак, будущее Кизиньо приятным образом обеспечено. Кроме того, я подозреваю, что дона Паулина копит деньги. В доме, с хорошей репутацией, теперь семь жильцов, все люди постоянные и надежные: каждый ей обходится в месяц до сорока пяти до пятидесяти мильрейс,

включая экстренные расходы. Самый старый, самый почтенный из них (с ним, я как раз познакомился) — Пиньо, Пиньо из Бразилии, командор Пиньо. Это он каждое утро возвещает час завтрака (часы в коридоре не идут с Рождества), выходя из своей комнаты ровно в десять часов с бутылкой воды Видаго¹⁾, и занимается за столом; уже накрытым, но еще пустым, свой стул, специальный камышевый стул с надувной подушкой. Никто ничего не знает ни о возрасте Пиньо, ни о его семье, ни о месте рождения, ни о его службе в Бразилии, ни о происхождении его чина. Однажды в зимний вечер он приехал на пароходе Royal Mail²⁾, пять дней провел в Лазарете; высадился с двумя чемоданами, камышевым креслом и пятьюдесятью жестянками варенья из гуавы; снял в этом меблированном доме комнату с окном на улицу. Здесь он безмятежно и весело толстеет, проживая на шесть процентов со своих бумаг. Человек это приземистый, коротконогий, с седеющей бородой; темная кожа у него имеет оттенок гуавы и кофе; он всегда одет в черное суконное платье. На шелковом шнурке у него висит золотой лорнет, и на каждом углу улицы он его распутывает от золотой цепочки часов, чтобы медленно и с интересом прочесть театральные афиши. Его жизнь построена на осматривательности и регулярности, которые так удивительно способствуют созданию порядка в государстве. После завтрака он надевает высокие сапоги, чистит свой цилиндр и не торопясь отправляется на Галантерейную улицу в бюро агента Годиньо, где в продолжение двух часов сидит на табуретке около прилавка, опершись волосатыми руками на ручку зонтика. Потом берет его под мышку и, не торопясь, идет на Золотую улицу. По дороге останавливается полюбоваться дамой с самым пышным шелковым платьем или какой-нибудь самой блестящей коляской с гербом. В табачном магазине Совы на Росио он вышивает стакан канесской воды, и сидит, пока не спадет жара. Тогда он идет в Городской Сад, где садится на скамью и наслаждается

¹⁾ Видаго — городок в провинции Траз-ош-Монтеш, с целебными источниками, известными еще во времена Римлян.

²⁾ Английская пароходная компания.

чистым воздухом и красотой города; или же в тени деревьев обходит Росио с поднятым лицом, на котором разлито полное удовлетворение. В шесть он возвращается домой, снимает и складывает сюртук, одевает сафьяновые туфли, облачается в удобный нанковый пиджак и обедает, при чем всегда просит вторую тарелку супа. После кофе он идет для «моциона» в Байшу, с задумчивой веселостью останавливается перед витринами кондитерских и модных лавок; иногда доходит до Шиадо, огибают угол Новой Троицкой улицы и стойко и спокойно торгуется за билет в Театр Жиназио. Каждую пятницу он ходит в свой «Бразильский и Лондонский Банк». В воскресенье вечером, крадучись, навещает полную и опрятную девушку на улице Магдалины. Каждые шесть месяцев получает проценты по своим бумагам.

Все его существование, таким образом, представляет из себя покой, разнесенный по графам. Ничто его не беспокоит, ничто его не волнует. Весь мир для него состоит только из двух величин: его самого, Пиньо, и Государства, которое дает ему шесть процентов. Поэтому мир совершенен и жизнь совершенна, пока Пиньо, благодаря водам Видаго, сохраняет аппетит и здоровье, и пока государство продолжает добросовестно оплачивать купоны. Впрочем, немногого и надо, чтобы удовлетворить те частицы души и тела, из которых, повидимому, он состоит. Потребность всякого живого существа (даже устрицы, как уверяют естествоиспытатели) — быть в общении со своими подобными посредством жестов и звуков — очень мало развита в Пиньо. В середине апреля он улыбается и говорит, разворачивая салфетку: «А у нас лето!» Все соглашаются, и Пиньо радуется. В середине октября, поглаживая пальцами подбородок, он бормочет: «У нас зима!» Если другой жилец спорит, Пиньо замолкает, потому что боится пререканий. И этой почтенной смены идей ему вполне достаточно. За столом он доволен и готов воздать хвалу богу, если ему подадут вкусный суп в глубокой тарелке, да еще два раза. Пернамбукская Газета¹⁾, Дневник Новостей, какая-нибудь комедия в

Жиназио или феерия с избытком удовлетворяют потребности ума и воображения, которые Гумбольдт нашел даже у ботокудов¹⁾. В области чувств Пиньо претендует только (как он сообщил однажды моему кузену) на то, чтобы «не схватить болезни». Политикой он не всегда доволен: пусть правит тот или другой, лишь бы полиция поддерживала порядок, и в области принципов и на улицах не происходили волнения, вредные для оплаты купонов. Что касается конечной судьбы его души, Пиньо (как он меня уверял) «хочет только, чтобы после смерти его не похоронили заживо». И даже в таком важном вопросе, каким является для командора его памятник, у Пиньо скромное желание: гладкий и приличный камень с его именем и простой надписью: молитесь за него.

Но было бы заблуждением, моя дорогая крестная, предполагать, что Пиньо чужд всему человеческому. Нет! Безусловно, Пиньо уважает и любит человечество. Только человечество с течением его жизни стало ужасно ограниченным. Людьми, людьми серьезными, справедливо заслуживающими это благородное имя, достойными почтения, любви и не слишком рискованного шага, для Пиньо являются только живущие на доходы с государственных бумаг. Так мой кузен Прокопио с юмором, совершенно неожиданным в спиритуалисте, недавно рассказал ему конфиденциально, сделав большие глаза, что у меня много бумаг! много полисов! много акций!.. Поэтому в первый же раз, когда я пришел после этого открытия, Пиньо, слегка покраснев, почти взволнованный, предложил мне жестянку варенья гуавы, завернутую в салфетку. Трогательный поступок! Он объясняет эту душу! Пиньо не эгоист, не черствый Диоген в черном сюртуке, удалившийся в свою бесполезную бочку. Нет. В нем есть человеческое стремление любить себе подобных, делать им добро. Только кого же Пиньо считает себе «подобными»? Живущих на проценты. И в чем состоит для Пиньо благодеяние? В уступке другим того, что ему бесполезно. И вот Пиньо вредно варенье из гуавы, и как только он узнал, что у меня есть бумаги, и, следо-

¹⁾ Ботокуды — дикое племя в Бразилии.

¹⁾ Пернамбуко — город в Бразилии.

вательно, я — ему подобный, капиталист, как он, он не замедлил исполнить свой долг человека и оказал тотчас же благодеяние: пришел, краснея от смущения и удовольствия, со своим вареньем в салфетке.

Значит ли это, что командор Пиньо бесполезен, как гражданин? Конечно, нет! Даже для того, чтобы поддержать неизменность и твердость порядка в нации, нет более подходящего гражданина, чем этот Пиньо, с его смиренными привычками, легкой приспособляемостью ко всякой форме общественного порядка, с его проверкой по пятиницам банковских счетов, с его удовольствиями, срываемыми с гигиенической осторожностью, его молчанием, инертностью. От Пиньо никогда не произойдет ни идеи, ни действия, утверждения или отрицания, которые нарушили бы мир в государстве. Итак, тучный и спокойный, прилепившись к социальному организму, не содействуя его движению и не мешая ему, Пиньо являет все признаки жирового нароста. В социальном отношении Пиньо — опухоль. Нет ничего безобиднее опухоли, а в наше время, когда государство полно разрушительных элементов, которые, как паразиты, сосут его, заражают и возбуждают, эта безобидность Пиньо может даже (если дело идет о порядке) рассматриваться, как заслуга. За это государство, как ходят слухи, сделает его бароном. Таким бароном, который окажет честь обоим, и Пиньо и Государству, потому что в его титуле одновременно тонко и деликатно сказывается уважение к семье и религии. Отец Пиньо назывался Франсишко, Франсишко-Жозе Пиньо. И наш друг будет бароном Сан-Франсишко.

До свиданья, моя дорогая крестная! У нас восемнадцатый день идет дождь! С начала июня и с тех пор, как расцвели розы, в этой солнечной стране под лазоревым небом, в земле смуглых олив и лавров, любезных Фебу, идет дождь, дождь без остановок, сплошными потоками, ничем невозмутимыми, без единого дуновения ветра, который бы их всколыхнул, без луча света, который бы их осиял: из облаков образуется над улицами мягкая пелена сырости и печали, где душа бьется и хиреет, как бабочка в сетях паука. Мы сейчас находимся целиком в стихе семнадцатом седьмой главы Книги

Бытия¹⁾. В случае, если эти небесные воды не уймутся, я заключаю, что намерения Иеговы по отношению к этой грешной стране самые угрожающие в смысле потопа. И не считая себя менее достойным, чем Ной, милости и участия бога, я покупаю дерево и смолу, чтобы построить ковчег по почтенным образцам свреев или ассирийцев. Если вскоре белая голубка постучится крыльями в Ваше окно, то знайте — это я прибыл в Гавр в своем ковчеге, везя с собою в числе других животных Пиньо и дону Паулину, чтобы потом, когда спадет вода, Португалия заселилась с пользой для себя, а государство всегда имело своих Пиньо для того, чтобы занимать у них деньги, и толстых Кизиньо, на которых оно могло бы тратить деньги, занятые у Пиньо.

Крестник, любезный Вашему сердцу,

Фрадик.

XI.

Господину Бертрану Б.

Инженеру в Палестине.

Париж, апрель.

Дорогой Бертран!

Как в насмешку, сегодня, в это пасхальное воскресенье, когда ликующие небеса облачились в праздничные золотые и лазоревые ризы, и свежая сирень наполняет мой сад благоуханием, чтобы придать ему святость, приходит твое ужасное письмо с известием об окончании трассировки железнодорожного пути от Яффы до Иерусалима! И ты торжествуешь! Наверное там, у врат Дамаска, в ботфортах, погруженных в прах Иосафата, положив зонтик на надгробный камень пророка и вода карандашом по бумаге, ты с расплывающейся улыбкой разгляды-

¹⁾ «И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею».

ваешь сквозь закопченные очки отмеченную флагами «линию», по которой вскоре, дымя и свистя, покатится из древней Иеппо в древний Сион черный поезд, твое черное детище! А вокруг подрядчики, отирая крупный пот от тяжелых грудов, самодовольно откупоривают бутылки пива! И позади вас Прогресс, ошестинившись у стен Иродова города, весь на винтах, весь на крюках, тоже победоносно потирает с сухим звяканьем свои жесткие руки из литого железа.

Прекрасно чувствую, прекрасно понимаю твой постыдный проект, о возлюбленный и роковой сын Школы Путей Сообщения! И не надо было вовсе ослеплять меня этим чертежом из красных линий, похожих на следы ударов подлого ножа по благородному телу. В Яффе, в древней Иеппо, бывшей героической и священной еще до потопа, будет первая станция с дебаркадером, со складами угля, весами, звонком, начальником станции с галуном на фуражке: она возвышается среди апельсиновых рощ, восхваляемых в евангелии, там, где св. Петр, спеша на крики женщин, воскресил Дорку, добрую ткачиху, и помог ей выйти из гробницы. Оттуда паровоз с вагоном 1-го класса, обитым парусиной, бесстыдно катится по долине Сарона, столь любимой небом, что даже под тяжелой стопой филистимлянских орд в ней никогда не увядали анемоны и розы. Пересекает Бет-Дагон и смешивает пыль кардифского угля с прахом древнего храма Ваала, того самого, который молчаливый и проникнутый тоской Самсон разрушил движеньем плеч. Он бежит по Лидде и оглушает свистками великого св. Георгия: тот все спит еще там своим последним сном в кольчуге, с перьями на шлеме, с перчаткой на рукоятке меча. Набирает воду через кожаную кишку из святого колодца, где Мария Дева на пути в Египет, отдыхая под смоковницей, дала пить младенцу. Останавливается в Рамле, прежней Аримафее (Аримафея! Поезд стоит пятнадцать минут!), селении с тихими садами, родине кроткого человека, похоронившего господя нашего. Проникает через дымные туннели в холмы Иудеи, на которых плакали пророки. Проносится среди развалин древней крепости, ставшей потом гробницей Маккавеев. Взабирается на же-

лезный мост через поток, где Давид, блуждая, набирал камни для пращи, чтобы уничтожать чудовища. Извивается, запыхавшись, по меланхолической долине, где жил Иеремия. Дальше он загрязняет Эммаус, несется через Кедрон и потный, масляный, грязный от копоти, останавливается, наконец, в долине Эннома, у конечной станции Иерусалим!

И вот, мой дорогой Бертран, так как я не кончил Школы Путей Сообщений и не состою акционером Общества Палестинских железных дорог, а только, как пилигрим, люблю эти очаровательные места и тоскую по ним, я считаю твое культурное дело профанацией. Я хорошо знаю, г. инженер, что св. Петр, воскресивший старую Дорку, чудесные саронские розы, младенец, пьющий по дороге в Египет в тени деревьев, которые насаждали на его пути ангелы — все это басни... Но эти басни две тысячи лет служат прибежищем трети человечества, дают очарование, надежду, утешение, силу, чтобы жить. Места, где происходили эти события, правда, очень обыденные и очень человеческие, но создавшие впоследствии такую красивую христианскую мифологию из-за стремления души к божественному, именно потому достойны уважения. Там, от Иакова до св. Павла, жили, боролись, учили, страдали все исключительные личности, которые теперь населяют небо. Только среди этих гор Иегова показывался в ужасном блеске в те времена, когда он посещал людей. В эти задумчивые долины сошел Иисус, чтобы обновить мир. Всегда божество предпочитало Палестину всем другим местам. Ничто материальное не должно было бы осквернить этот духовный уголок. И жаль, что дым прогресса наполнит воздух, где еще сохранилось благоухание полета ангелов, и что его железные рельсы взроют почву, где еще отчетливо видны божественные следы.

Ты улыбаешься и обвиняешь древнюю Палестину именно в том, что она неиссякаемый источник иллюзий. Но иллюзия, дорогой Бертран, так же полезна, как и уверенность: и в законченное образование каждого духа должны входить сказки Фей, как и задачи Евклида. Кто разрушает религиозное и поэтическое влияние Св. Земли, как

в простых сердцах, так и в культурных умах, тот способствует регрессу в цивилизации, в истинной цивилизации, в той, в которой ты не работник, и которая предпочитает стремиться больше к совершенствованию души, чем к укреплению тела; и даже в смысле полезности считает более полезным чувство, чем машину. Паровоз, маневрирующий в Иудее и Галилее со своим материалистическим углем и железом, с неизбежным распространением отелей, омнибусов, бильярдных, газовых рожков, непоправимо разрушает эмоциональную силу Земли Чудес, потому что модернизирует, индустриализирует и опошляет ее...

Отчего происходит эта власть, это духовное влияние Палестины? Оттого, что на протяжении четырех тысяч лет она сохранилась библейской и евангельской страной... Без сомнения, в Израиле произошли изменения: турецкое владычество менее почетно, чем римское; от садов и виноградников вокруг Иерусалима остались скалы да крапива; разрушенные города потеряли героический характер крепостей; вино редко; всякое знание заглохло; и конечно, то тут, то там в Сионе на террасе какого-нибудь левантинского купца насвистывают вальсы из Madame Angot.

Но интимная жизнь в деревенской, городской или бродячей форме, нравы, обычаи, обряды, одежда, посуда — все осталось, каким было во времена Авраама и Иисуса. Попасть сейчас в Палестину все равно, что проникнуть в живую библию. В тени сикомор палатки из козьих шкур; пастух, опершись на длинное копье, стоит окруженный своим стадом; женщины в желтых и белых покрывалах с кувшином на плече поют песни по дороге к колодцу; горец целится из пращи в орла; у ворот, обнесенных стенами городов, сидят прохладным вечером старцы; светлые террасы, усеянные голубями; писец проходит с чернильницей у пояса; служанки мелют зерна; человек с длинными волосами назарея приветствует вас и говорит с вами притчами; хозяйка, принимая вас, стелет ковер перед порогом, чтобы вы прошли в ее жилище; и еще брачные процессии, и медленные танцы под стоны бубнов, и плакальщицы у белых гробниц — всё переносит странника в старую Иудею времен Пи-

сания и так жизненно и реально, что каждый миг мы недоумеваем, не Рахиль ли эта легкая и смуглая женщина с золотыми кольцами и ароматом сандала, которая ведет козленка, держащегося за конец ее плаща; или не Иисус ли это учит там среди мужчин в тени смоковниц и винограда, где стоит человек с короткой курчавой бородой и поднятой рукой.

Это переживание, драгоценное для верующего, ценно и для мыслителя, потому что ставит его в осязательное общение с одним из самых чудесных моментов истории человечества. Конечно, было бы одинаково важно (может быть, еще важнее), если бы можно было пережить то же волнение в Греции и там найти в ее одеждах, обычаях, общественной жизни великие Афины Перикла. К несчастью, эти ни с чем несравнимые Афины умерли, навеки погребены и превратились в прах под Афинами римскими, и Афинами византийскими, и Афинами варварскими, и Афинами мусульманскими и грязными конституционными Афинами. Повсюду старые декорации истории изодраны, разрушены. Даже кажется, что горы потеряли свои классические контуры, и невозможно найти в Лациуме реку и прохладную долину, где жил Вергилий, и которую он воспел чисто по вергилиевски. Оставалось единственное место на земле с той внешностью и обычаями, с какими его видели и знали люди, совершившие один из самых великих мировых переворотов: это место было клочком Иудеи, Самарии и Галилеи. И если оно будет грубо модернизировано, подведено под общий социальный тип, облюбованный нашим веком и напоминающий округ Ливерпуля или департамент Марселя, и если таким образом исчезнет навсегда воспитательная возможность видеть великий образ прошлого, какая это будет профанация, какое грубое и варварское опустошение! И, потеряв этот пережиток античных цивилизаций, сокровищница нашего знания и вдохновения непоправимо оскудеет.

Конечно, милый Бертран, никто не ценит и не уважает железную дорогу более, чем я, и мне было бы тяжело совершить путешествие из Парижа в Бордо, сидя с растопыренными ногами на осле подобно Иисусу, когда

он подымался из Иерихонской долины в Иерусалим. Однако, самые полезные вещи назойливы и даже неприличны, когда грубо захватывают несвойственные им области. Нет ничего более необходимого в жизни, чем ресторан: и все-таки даже самый неверующий и непочтительный человек не пожелал бы поместить ресторан с его столиками, звоном тарелок, запахом жареного, под сводами Собора Парижской Богоматери или старого Коимбурского собора. Железная дорога — вещь достойная похвалы между Парижем и Бордо. Между Иерихоном и Иерусалимом достаточно быстрой кобылы, нанятой за две драхмы, и парусиновой палатки для ночлега среди пальм на берегу прозрачных вод, где так невинно спится под мирно сверкающими звездами Сирии.

Именно этот шатер, задумчивый верблюд с грузами, пестрый отряд бедуинов, пространства пустыни, где несешься с душой, полною свободы, лилия Соломона в расщелинах священных развалин, тенистые уголки близ библейских колодцев, переживание прошлого на привале около костра — придают очарование путешествию и влекут человека со вкусом и любовью к тонкому эмоциональному восприятию природы, истории и искусства. Когда же из Иерусалима будут ездить в Галилею в гремящем и пыльном вагоне, никто не совершит этого великолепного путешествия — кроме ловкого коммивояжера, который отправляется продавать по базарам манчестерские ситцы или красные седанские сукна. Твой черный поезд поедет без пассажиров. Какая это будет великая радость для всех положительных умов, кроме акционеров Общества Палестинских железных дорог!..

Но успокойся, Бертран, инженер и акционер! Даже самые верные слуги Идеала никогда не противостоят чувственным соблазнам прогресса. Если человеку XIX века представится, с одной стороны, для медленного следования из Яффы в Иерусалим к царю Соломону полный неистощимой поэзии и легенды караван самой царицы Савской из слонов и диких ослов, со знаменами, лирами, глашатаями, увенчанными анемонами, с грузами драгоценных камней и благовоний, а с другой — свистящий поезд с открытыми дверцами обещал бы совершить этот

же путь, только без толчков и солнечных ударов, со скоростью в двадцать километров в час и с обратным билетом, то этот человек, будь он самый интеллигентный, самый ученый эстет, схватил бы свою картонку для шляп и поспешно протолкался бы в вагон, где можно снять сапоги и спать в растяжку.

Поэтому твое гнусное дело процветет из-за собственной своей гнусности. И через несколько лет положительный восточный житель, выехав утром из древней Иеппо в вагоне 1-го класса, купит на станции Газа Либеральную Синайскую Газету, с удовольствием позавтракает в Рамле в Grand Hôtel'e Маккавеев, вечером пройдет в Иерусалиме по освещенному электричеством Крестному Пути, и выпьет бокал пива и сыграет партии три на бильярде в Казино Гроба Господня!

Это будет делом твоих рук и концом христианской легенды.

Прощай, чудовище!

Фрадик.

XII.

Госпоже Жуарр.

Мыза Рефалдеш (Миньо).

Моя дорогая крестная!

Я живу в полном довольстве среди церковных угодий, потому что эта мыза принадлежала некогда монастырской братии. А теперь ею владеет один из моих друзей; он, как Вергилий, поэт и земледелец, и, обрабатывая землю и пася свои стада, благоговейно воспекает героическое прошлое Португалии. Крепкий, цветущий, весь обожженный солнцем, он населяет со своими восемью сыновьями эти монашеские кельи, обитые светлым кретоном. И я вернулся из Лиссабона сюда на север в эти майские поля, чтобы крестить последнего; это славный господин в три вершка ростом, кирпичного цвета; весь в складочках,

настоящий кренделечек, с лысой головой в виде дыни, блестящими, как стеклышко, глазами среди морщин, со старческим выражением глубокого скептицизма. В субботу, в день св. Бернарда, под лазоревым небом, таким сверкающим и нежным ради этого случая, среди аромата роз и жасмина, под чистый звон колоколов мы понесли его, украшенного бантами и кружевами в баптистерий, где отец Теотоний смыл с него всю грязную корку первородного греха, которая его покрывала от пухлых пяток до темени: бедный господин, в три вершка ростом, погубивший свою душу, еще не успевшую пожить... И с тех пор Рефалдеш стал как будто островом лотофагов, а я поел лотоса, вместо цветной капусты с огорода, и вот остался здесь, забыв о мире и о самом себе, дыша воздухом этих красивых лугов, среди сельской невозмутимости, которая нежит и убаюкивает меня.

Монастырский дом, где мы живем, и куда приезжали на лето отдыхать каноники ордена св. Августина, жирные и богатые святые отцы, соединяется галлереей, украшенной гортензиями, с простой и безыскусственной церковью, и выходит на осененный каштанами двор, задумчивый и серьезный, как все церковные дворы Миньо. Над воротами каменный крест, где все еще висит на железной цепи дряхлый и медлительный монастырский колокол. Посреди двора ключ вкусной воды сонно поет, падая с раковины на раковину. Над ним другой каменный крест; желтоватый мох одевает его вековой меланхолией. Дальше просторный бассейн, искусственное озеро, окруженное каменными скамьями, где по всей вероятности почтенные отцы наслаждались по вечерам прохладой и покоем; обильная и чистая вода для орошения бьет из под каменной статуи в нише, изображающей, по всей вероятности, св. Риту. Дальше, в огороде, еще одна тощая святая, поддерживая руками разбитую вазу, оберегает, как наядя, другой журчащий источник, который катит свои сверкающие струи по гранитным желобам через бобовое поле. На каменных подпорках для винограда иногда вырезан крест, или священное сердце, или монограмма Иисуса. Таким образом, вся мыза, освященная знаками благочестия, напоминает ризницу, где крышей

служат виноградные лозы, вместо пола дерн, из каждой щели бьет поток, а фимиами исходит от цветов гвоздики.

Но несмотря на эти священные эмблемы, ничто нас не принуждает, ничто не влечет сурово к отречению от мира. Очень плодородная мыза всегда состояла, как и теперь, из хлебных полей, хорошо обработанных и орошенных, полей, греющихся на солнце, как лежащая на спине античная нимфа. Превосходная братия, обитавшая в ней, сильно любила и землю и жизнь. Это были дворяне, вступавшие в войско короля, и, как и те, они весело наслаждались досугами, привилегиями и богатством своего ордена и своей касты. Они прибывали в Рефалдеш в июльскую жару на носилках, в сопровождении лакеев. Кухня посещалась больше, чем церковь, и каплуны подрумянивались каждый день на вертеле. Пыль стыдливо покрывала библиотеку, куда редко-редко какой-нибудь ревматический каноник, принужденный оставаться среди подушек в келье, посылал за Дон-Кихотом или Фарсами Петронили¹). Ученые аббаты обметали пыль, проветривали, каталогизировали, делая ученой рукой пометки на этикетках... только в винном погребе...

Итак, не ищите в этой монашеской обители ни драгоценного налета монастырской грусти; ни расщелин гор и долин, безмолвных и уединенных, столь сладостных для переживания тоски по небу; ни чащи лесов, куда скрывался св. Бернард, чтоб там найти, скорей чем в келье, «плодотворное уединение»; ни прогалин с голыми скалами, удобных для хижин и креста отшельника среди шумящих сосен... Нет! Здесь вокруг двора (куда вода течет из под подножья креста) крепкие амбары для зерна, мягкие луга для откармливания скота; курятники, полные каплунами и почтенными индюками. Впереди огород весь в цвету, благовонный, обильный, способный наполнить котлы целой деревни, но убранный, как сад, с дорожками вдоль благоуханных грядок земляники под сенью трельяжей, перевитых густым виноградом. Дальше гра-

¹) Петрониля — испанская комическая актриса, выступавшая с громадным успехом в Португалии в середине XVIII-го века.

нитный ток, чистый и гладкий, прочно установленный на многие века и на много жатв, с овином, хорошо устроенным и хорошо проветриваемым, и таким большим, что воробьи летают внутри, как под открытым небом. И, наконец, простираясь до покатых холмов, волнуются богатые поля, проса и ячменя, низкие виноградники, рощи маслин, сенокосы, лен по краям оросительных каналов и цветущий кустарник для скота... Св. Франциск ассирийский и св. Бруно прокляли бы это убежище братии и бежали бы отсюда возмущенные, как от воплощенного греха.

Внутренность дома представляет тот же светский уют. Просторные кельи с расписными потолками выходят окнами на солнце и получают от засеянных полей постоянное ощущение довольства, сельской зажиточности, земных благ, всегда надежных. И лучшая комната, предназначенная для самых приятных занятий, это трапезная с большими балконами, где хорошо поевшие монахи после обеда, согласно почтенной традиции святых отцов, могли пить кофе маленькими глотками, шутя и икая, дыша свежим воздухом и слушая громкое пенье дрозда на ветвях тополя во дворе.

Таким образом, ничего не пришлось менять в этом жилище, когда из монастырского оно сделалось мирским. Оно было искусно приготовлено для светских людей, и та жизнь, какою в ней зажили, не отличалась от жизни старого монастыря: только она стала прекраснее, потому что освободилась от противоречий духовного и светского, и поэтому ее гармония сделалась полной. И, как таковая, она течет с несравненной приятностью. Рано утром петухи поют, мыза просыпается, сторожевые собаки сажаются на цепь, служанка идет доить коров, пастух берет посох на плечо, вереница поденщиков приступает к полевым работам — и начинается труд, тот труд, который в Португалии кажется нескончаемым праздником, полным самых надежных радостей, потому что он все время сопровождается пением. Затерянные голоса высоко несутся в чуткой тишине оттуда, из хлебов, со вспаханного поля, где белеют рубахи из сурового полотна, и платки с длинной бахромой алеют, как маки. И в этом труде нет ни жестокости, ни напряжения. Он

совершается с легкостью, с какою хлеб зреет на солнце. Плуг больше ласкает, чем бороздит землю. Пшеница падает сама собою, любовно, в лоно увлекающего ее серпа. Вода знает, где почве нужна влага, и, сверкая, говорливо бежит туда. В этих благословенных краях Церера действительно является, как в Лациуме, богиней Земли, всему благоволящей, всему помогающей. Она укрепляет руку земледельца, освежает его потное лицо и снимает с души его всякую темную заботу. Поэтому служители ее сохраняют веселую ясность в самом суровом труде. Такова была блаженная жизнь древних.

В час — основательный и жирный обед. Мыза дает все в изобилии: и вино, и масло, и овощи, и плоды, все это имеет более здоровый и живой вкус, потому что как бы падает прямо из рук господа бога на стол, не проходя через рынок или лавку. Ни в каком дворце утонченной Европы не едят в действительности так вкусно, как в сельских мызах Португалии. В закопченной кухне с двумя глиняными котлами и четырьмя кострами на полу деревянные страпухи с засученными рукавами готовят пир, который заставил бы затрепетать от восторга старика Юпитера, небесного гурмана, воспитанного на нектаре, потому что с тех пор, как существуют боги на небе и на земле, этот бог больше всех ел и лучше всех умел есть. Кто никогда не пробовал вареного риса, пасхального агнца, целиком зажаренного на вертеле, потрохов цыпленка, ведущих начало от основания монархии¹⁾ и наполняющих восторгом душу, тот не может знать по-настоящему, в чем заключается особое блаженство, столь грубое и столь божественное, которое во времена монахов носило название раздолья. Кроме того, мыза с нежной тенью трельяжей, сонным ропотом оросительных вод, то тусклым, то ярким золотом волнующихся нив, представляет более, чем какой-либо другой человеческий или библейский рай, прочный покой для того, кто встал, отяжелевший и довольный, после этого риса и этого ягненка!

¹⁾ Основание монархии и независимости было положено в Португалии в 1139 году.

Если эти полдни несколько материалистичны, то вскоре вечер внесет долю необходимой духу поэзии. На всем небе потух золотой отблеск, это надменное сверкание, на которое невозможно смотреть и которое почти отталкивает вас; теперь, став спокойным и доступным, оно проливает нежность и мир, проникающие в душу, делающие ее тоже мирной и нежной и создающие тот редкий миг, когда небо и душа роднятся и понимают друг друга. Деревья стоят в недвижном созерцании, почти как разумные существа. В тихом и отрывистом щебетании птиц чувствуется уют и сознание счастливого гнезда. Утомленное и сытое стадо волов вереницей возвращается с пастбища и отправляется на водопой к бассейну, где вода еще ленивее плещется под крестом. Колокол звонит Ave Maria, и во всех домах шепчут имя господне. Запоздалая телега с дровами тяжело скрипит по тенистой дороге. И все так спокойно, просто и нежно, крестная, что, сидя где-нибудь на каменной скамье, я чувствую подъем, проникновенно чувствую благодать природы и нахожусь в такой гармонии с ней, что в моей душе, закоснелой в мирской грязи, нет мысли, которую нельзя было бы рассказать святому...

И правда, эти вечера возвышают душу. Мир отодвигается далеко, за сосны и холмы, как забытая невзгода. Поистине мы как бы блаженствуем в монастыре, только без устава и без аббата, находя этот устав только в святости окружающей природы, благоприятствующей молитве без слов, более понятной богу.

Потом темнеет, уже видны светляки на изгороди. Крошечная Венера блистает в вышине. Комната наверху полна книг, книг, запертых во времена отцов, потому что только с тех пор, как этот дом не принадлежит духовному ордену, он одухотворился. И день на мызе заканчивается медленной и спокойной болтовней о идеях и литературе в то время, как рядом гитара жалобно наигрывает какую-нибудь старинную песню, полную бесконечной тоски и восклицаний. А луна, круглая и красная луна поднимается из-за черных гор и как будто подслушивает в глубине балкона.

Deus nobis haec otia fecit in umbra Lusitaniae pulcherrimae¹⁾. Плохая латынь — милая истина.

Ваш милый и дурной крестник
Фрадик.

XIII.

К л а р е...

(Пер.)

Париж, ноябрь.

Моя любовь!

Всего несколько мгновений тому назад (десять секунд, десять минут, потраченных мною на отвратительный фиакр от нашей *Turris eburnea*²⁾), я еще чувствовал биевание твоего сердца около моего сердца; когда их разделяло только немного смертной материи, такой прекрасной в тебе, такой грубой во мне, и вот я уже тревожно пытаюсь продолжать при посредстве инертной бумаги то невыразимое «быть с тобой», в котором теперь вся цель моей жизни, моя действительная и наивысшая жизнь. Ведь, вдали от тебя я перестаю жить, всё перестает для меня существовать; и я, как мертвец, лежу среди мертвого мира. Едва кончается для меня этот совершенный и краткий миг жизни, которым ты даришь меня, садясь рядом со мною и шепча мое имя, и я снова начинаю стремиться к тебе, как к воскресению из мертвых!

Прежде, чем я полюбил тебя, прежде, чем я получил из рук бога мою Еву, — чем была на самом деле? Тенью, колеблющейся среди теней. Но ты пришла, нежно любимая, затем, чтобы я ощутил свое бытие и мог воскликнуть, ликуя: «Люблю, значит — существую!» И ты мне открыла не только мою собственную сущность, но и сущность всей вселенной, окружавшей меня раньше, как непонятное серое нагромождение видимостей. Когда несколько дней тому назад с наступлением сумерек на террасе и Се-

¹⁾ «Господь дал нам эти досуги в тени прекраснейшей Лузитании».

²⁾ «Башня из слоновой кости».

вране¹⁾ ты жаловалась, что я вблизи твоих глаз люблюсь звездами и близ твоих горячих плеч наблюдаю засыпающие холмы, ты не знала, и я не мог тебе тогда объяснить, что это созерцание только новый способ поклоняться тебе, потому что поистине я любовался во всем окружающем неожиданной красотой, которую одна ты умеешь проливать; и что прежде, чем я стал жить около тебя, я их никогда не замечал, как до восхода солнца не различается алый цвет роз или нежная зелень травы! Это ты, моя любимая, осветила мне мир. Через твою любовь я принял свое посвящение. Теперь я понимаю, теперь я знаю. И, как древний посвященный, я могу утверждать: «И я был в Элевзине: на долгом пути я возложил много цветов, но не настоящих, на многие алтари, но не на божественные. Но я пришел в Элевзин, проник в Элевзин, — и узрел и почувствовал истину!»...

Мое мучение и мой восторг усугубляются еще тем, что твоя красота так великолепна, так воздушна, это красота, созданная из неба и земли, совершенная красота, тебе одной присущая; я ее носил в себе и считал, что не встречу ее в жизни. Сколько раз я думаю перед всегда удивительной и всегда безупречной Венерой Милосской: если бы в ее голове богини могли тесниться земные заботы; если бы ее гордые и бессловесные глаза могли затуманиться слезами; если бы ее губы, созданные для меда и лобзаний, дрогнули, смиренно шепча мольбу; если бы на этой груди, высочайшем возжелении богов и героев, когда-нибудь затрепетала любовь и с нею благодать; если бы ее мрамор страдал, и страдание делало его более одухотворенным, присоединяя таким образом к блеску гармонии хрупкое изящество; и если бы она принадлежала нашему времени, чувствовала наши горести и, оставаясь богиней наслаждения, сделалась бы владелицей страдания — тогда она не стояла бы в музее, но ее почитали бы в святилище, потому что люди, видя в ней всегда страстно-желанное и никогда не обретаемое соединение действительности и идеала, конечно, провозгласили бы ее окончательно и in aeternum²⁾ божеством. Но увы! Бедная Венера являет

¹⁾ Севран — местечко в окрестностях Парижа.

²⁾ «На веки».

только безмятежную роскошь тела. Всегда ей не хватало пламени, которое пылает в душе и сжигает ее. А несравненное создание моей мечты, духовная Венера, Киферея, Скорбящая — не существовала, и никогда не будет существовать!.. Когда я так думал, явилась ты, и я познал тебя. Ты воплощение моей мечты или скорей всеобщей мечты, но только один я тебя открыл или, вернее, я был так счастлив, что одному мне ты пожелала открыться!

Посуди же сама, выпущу ли я тебя когда-нибудь из своих объятий! Тем самым, что ты — мое Божество, ты навсегда во власти моего поклонения. Карфагенские жрецы прикрепляли бронзовыми цепями к плитам храма изображения Ваала. И я хочу приковать тебя в храме, построенном для тебя скупцом, чтобы ты была лишь моим божеством и всегда пребывала на алтаре, а я, повергшись ниц, буду принимать тебя постоянно в своей душе и погружаться непрестанно в твою сущность для того, чтобы даже на миг не прерывалось это невыразимое слияние. Совершая это дело милосердия, ты тем самым спасешь меня. Я бы действительно желал, чтобы ты оставалась невидимой и как бы не существующей для других, чтобы однообразный покров ограждал всегда твоё тело от посторонних взоров, и строгая немота скрывала твой ум. И ты бы прошла в мире, как непонятное видение. И только для меня внутри темной оболочки открывалось бы твоё изумительное совершенство. Видишь, как я тебя люблю: мне хотелось бы видеть тебя с безжизненным и безразличным видом, завернутой в грубое и бесформенное шерстяное одеяние... Я лишился бы тогда торжествующего удовлетворения наблюдать, как блистает среди очарованной толпы та, которая втайне меня любит. Все бы шептали с сожалением: «Бедняжка!» И только я один знал бы, какое восхитительное тело и душа у «бедняжки»!

И как они восхитительны! Я не понимаю, как, сознавая свое обаяние, ты не влюбилась в себя, подобно Нарциссу, покрытому мхом и дрожащему от холода на краю фонтана в Севране. Но я беспрдельно люблю тебя и за себя и за тебя! Твоя красота поистине возвышенна, как добродетель, и, конечно, это твоя чистая душа сде-

лала такими прекрасными линии твоего тела. Поэтому я нахожусь в постоянном отчаянии, что не люблю тебя достойным образом или скорей (так как ты спустилась с высшего неба), что не умею обходиться, как она того заслуживает, с божественной обительницей моего сердца. Мне бы хотелось иногда окружить тебя духовным ангельским блаженством, бесконечным, невозмутимым, каким оно должно быть, — и во сне, полном покоя, обнявшись, в один и тот же час расстаться с жизнью, пересечь безмолвное, залитое светом пространство, чтобы продолжать там тот же восторженный сон. А иной раз я бы желал увлечь тебя к сильному, бурному, сверкающему и пламенному блаженству, чтобы найти в нем великолепную гибель, и чтобы от нас осталось только немного безымянного, забытого чепла! У меня есть старая гравюра сатаны во всем блеске его архангельской красоты: он увлекает в своих объятиях к пропасти монахиню, святую, чьи последние покаянные покрывала рвутся об острия черных скал. И на лице святой сквозит ужас сияют неукротимые и более сильные, чем ужас, радость и страсть, такие напряженные, что я хотел бы их для тебя, о моя похищенная святая! Но ни одним из этих способов я не умею тебя любить, настолько слабо и неумело мое сердце. Но если моя любовь несовершенна, то я удовлетворяюсь тем, что она вечна. Ты улыбаешься грустно этой вечности. Еще вчера ты спросила меня: «В календаре вашего сердца сколько дней длится вечность?» Но прими во внимание, что я был мертв, и ты меня воскресила. Новая кровь в моих жилах, новый дух, чувствующий и понимающий, — вот моя любовь к тебе. И если она уйдет от меня, я снова, окоченевший и немой, вернусь в мою гробницу. Я перестану любить тебя только тогда, когда перестану существовать. Жизнь с тобой и для тебя так невыразимо прекрасна! Это жизнь бога. Даже лучше; и если бы я был язычником, каким ты меня считаешь, язычником Лациума, пасущим стада, и верил еще в Юпитера и Аполлона, я бы каждое мгновение боялся, как бы один из этих завистливых богов не похитил тебя, не вознес на Олимп, чтобы завершить свое божественное блаженство. А теперь я не боюсь: я знаю, что

ты моя и навсегда, смотрю на мир вокруг нас, как на рай, созданный для нас, и сплю покойно на твоей груди в полном блаженстве, о моя трижды благословенная Царица благодати.

Не подумай, что я сочиняю гимны в хвалу тебе. В простоте душевной я даю излиться тому, что кипит у меня в душе... Наоборот! Вся поэзия всех веков в своем изысцестве или своем величии бессильна выразить мой экстаз. Я лепечу, как могу, мою бесконечную молитву. И из-за этого прискорбного несовершенства человеческого слова, как самый некультурный неуч, я становлюсь на колени перед тобой и, воздев руки, твержу единственную, наилучшую истину: я люблю тебя, люблю, люблю и люблю!..

Фрадик.

XIV.

Госпоже Жуарр.

(Пер.)

Лисабон, июнь.

Моя дорогая крестная!

В меблированном доме на улице Палья, где живет на мучительной привязи у Истины мой кузен Метафизик, я познакомился вскоре после возвращения из Рефалдеш с патером, патером Салгэйро. Может быть, крестная, с Вашей лукавой и терпеливой способностью собирать типы, Вы найдете его интересным и психологически занимательным.

Мой рассеянный и бледный Метафизик уверяет, пожимая плечами, что патер Салгэйро не отличается никакими особенностями тела или души от сереньких патеров своей епархии, и что он, как точный указатель, объединяет в себе мышление, чувства, образ жизни и внешность духовного класса Португалии. Действительно, извне, по оболочке, патер Салгэйро обычный и ходячий тип португальского патера, взятого от земли, прирученного и отполированного потом семинарией, визитами к властям и

в канцелярии, знакомствами на почве исповеди и обедни с дворянками, владелицами часовен и, в особенности, долгим пребыванием в Лисабоне, в пансионах Байши, пропитанных литературой и политикой. Сильно выпуклая грудь, глубокое дыхание, как у кузнечных мехов, руки еще темные и жесткие, несмотря на долгое соприкосновение с белыми и нежными облатками, лицо цвета дубленой кожи с синим отливом гладко выбритых щек, темная тонзура среди волос более черных и грубых, чем лошадиная грива, зубы ослепительно белые — все это принадлежит земледельческому классу, из которого он вышел, и который еще и теперь в Португалии поставляет весь персонал церкви из желания иметь связи и найти опору в единственном великом человеческом учреждении, внушающем ему доверие и понятном ему. Изнутри же, как мозг, патер Салгэйро являет в моральном отношении восхитительно картинную структуру, новую для того, кто, как я, видел у португальского клира только внешность, сутану, исчезающую в дверях ризницы, старый, пропитанный нюхательным табаком платок на краю исповедальни, рясу, белеющую в коляске позади гроба.

В патере Салгэйро меня привела в восторг тотчас же, в тот вечер, когда мы столько болтали, лениво огибая Росио — его манера понимать свое служение. Для него священнослужительство (которое в конце концов он любит и ценит, как одну из самых важных основ общества) не состоит из каких-нибудь духовных функций, но исключительно и решительно из гражданских. Всегда, с тех пор, как его прикрепили к приходу, он смотрел на себя как на государственного служащего, общественного чиновника, который носит мундир-рясу (как таможенные сторожа носят куртку) и который вместо того, чтобы ходить каждое утро в какое-нибудь министерство Дворцовой Площади¹⁾, чтобы писать или подшивать дела, идет, даже в праздничные дни, служить обедню и исправлять требы в другое отделение, где вместо бюро возвышается алтарь. У него нет и не было сношений с небом (о небе ему

только требуется знать, сулит оно дождь, или же оно безоблачно), но только с Секретариатом Министерства Юстиции и Духовных Дел. Оно устроило его в приход не для того, чтобы продолжать дело господне и вести людей по чистой дороге спасения (задача эта ничуть не заботит государственные секретариаты), но чтобы в качестве чиновника выполнять известные общественные дела, установленные для блага государственного порядка, т. е. крестить, исповедывать, венчать, хоронить прихожан.

Поэтому таинства для этого превосходного патера Салгэйро просто гражданские церемонии, нужные для упрочения гражданского порядка. И никогда, с тех пор как он их совершает, он не думал об их божественной природе, о благодати, которая сообщается через них душам, о той силе, которою они соединяют преходящую жизнь с имманентным началом. Конечно, прежде в семинарии патер Салгэйро изучил по затасканным компендиумам догматическую и пастырскую теологию, начало нравственности, св. Фому и Лигуори¹⁾, но делал он это для него, чтобы выполнить официальную программу наук, быть посвященным епископом, а потом получить приход через своего министра. Все это он делал, как всякий другой бакалавр, изучающий в Коимбре свои себенты естественного и римского права для прохождения курса и получения докторской кисточки на шапке, а с нею удобств легкой службы. Только звание имеет значение и ценность, потому что дает право на место. Наука, ведущая к этому — тягостная формальность, истинный искус: раз пройденная, она не оставляет в уме желания снова вернуться к ее дисциплинам, к ее сухости и скуке. Патер Салгэйро теперь совершенно уже забыл теологическое и духовное значение брака; но венчает и венчает с ловкостью, с литургическим рвением, с хорошим гражданским исполнением долга, делая подробные записи, вкладывая в жест благословляющей руки все положенное умиление, превосходно соединяя руки под эпитрахилью, в

¹⁾ Св. Фома Аквинский — автор трактата «Summa Theologiae» (1225—1274). — Лигуори (Альфонсо-Мария) — итальянский монах, основатель ордена Редemptористов (1696—1787); провозглашен святым в 1839 г. и Doctor'ом Ecclesiae в 1871 г.

¹² Кайрош, Фрадик Мендеш.

¹⁾ Terreiro do Paço — большая площадь в Лисабоне, на которой расположены главнейшие присутственные места.

совершенстве выговаривая латынь, потому что для государства полезно хорошо женить граждан и, как усердный чиновник, он не хочет дурно исполнять обязанности, за которые ему платят без задержки.

Его невежество прелестно. Кроме редких событий из земной жизни Христа: бегства в Египет на муле, умноженных хлебов на браке в Кане, бича, избивающего торговцев в храме, некоторых изгнаний бесов, — он ничего не знает из евангелия, считая его тем не менее очень красивым. Он так же далек от учения Христа, как и от философии Гегеля. И из библии ему известны только отдельные эпизоды; он их знает, наверное, по олеографиям: Ноев ковчег, Самсон, разрушающий врата Газы, Олоферн, обезглавленный Юдифью. Но что меня забавляет в те вечера, когда мы по-дружески разговариваем на улице Палья, это его полное и наивное незнание происхождения церкви и ее истории. Патер Салгэйро воображает, что христианство основалось вдруг, в один день (и, конечно, в воскресенье), как одно из ярких чудес Иисуса Христа, и с этого торжественного часа все для него сливается в неверных сумерках, где в тумане поблескивают нимбы святых и тиары пап до Пия IX. Но в папской деятельности Пия IX он не ценит ни догмата непогрешимости, ни Силлабуса¹⁾, потому что считает себя либералом, желает больше прогресса, благословляет пользу просвещения и получает Первое Января²⁾.

В чем я его также нахожу неизмеримо оригинальным, так это в его рассуждениях об обязанностях, возложенных на него, как на пастыря душ, об обязанностях по отношению к этим душам. Что он для продолжения божественного дела должен утешать скорбь, умиротворять вражду, руководить раскаянием, учить добру, смягчать грубость эгоизма, это для почтенного патера Салгэйро самая странная и несуразная новость! И не потому, что он не признает моральной красоты этой

миссии, напротив, он считает ее очень поэтической. Но он не допускает, чтобы такая прекрасная и почтенная миссия, могла быть возложена на него, патера Салгэйро. Это все равно, что требовать от таможенного ревизора, чтобы он одухотворил и морально очистил торговлю. Это святое дело принадлежит святым. И святые, по мнению патера Салгэйро, образуют сословие, духовную аристократию со сверхъестественными обязанностями, которые им поручаются и оплачиваются небом. А обязанности приходского священника совершенно другие! Как духовный чиновник, он только должен исполнять функции обряда во имя церкви и, следовательно, во имя государства, на чей счет она существует. Надо крестить ребенка? Патер Салгэйро берет эпитрахиль и крестит. Надо хоронить труп? Патер Салгэйро берет иссоп и хоронит. В конце месяца он получает свои десять тысяч рейс (сверх пожертвований), и епископ ценит его старания.

Представление патера Салгэйро о его миссии с похвальной логикой определяет его поведение. Встает он в десять, классический час, принятый государственными чиновниками. Никогда не открывает своего молитвенника, разве только в присутствии своих духовных начальников, да и то ради чинопочитания, как лейтенант становится во фронт перед своим генералом и кладет руку на эфес сабли. Что касается молитв, размышлений, умерщвления плоти, самоуглубления, всех этих кропотливых методов самосовершенствования и достижения святости, то он даже не подозревает ни о их необходимости, ни о их пользе для него. К чему это? Патер Салгэйро постоянно имеет в виду, что, как чиновник, он должен без изменений и ошибок поддерживать ту внешность, которая внушает людям уважение к его функциям. Поэтому он всегда одевается в черное. Не курит. По постным дням ест рыбу. Никогда нога его не переступает нечистого порога кофейни. За всю зиму он всего один раз сходит в театр Сан-Карлош, когда дается Полиевкт¹⁾, религиозная опера, в высшей степени назидательная. Он яростно вырвал бы свой язык, если бы с него сошла ложь. И он

¹⁾ Догмат непогрешимости папы был провозглашен Пием IX в 1870 г. — «Силлабус» — папская булла с перечнем запрещенных верований (1864).

²⁾ 1 января — годовщина свержения испанского владычества в 1640 г.

¹⁾ Опера Доницетти.

целомудрен. Он не осуждает и не отталкивает с гневом женщину, как св. отцы: он даже уважает ее, если она бережлива и добродетельна. По правилу церкви запрещает женщину: он церковный чиновник и, следовательно, женщина не входит в круг его деятельности. Он сурово целомудрен. Я не знаю большей почтенности, чем почтенность патера Салгэйро.

Насколько я заметил, его занятия, как чиновника, состоят с понятной логичностью (кроме часов, отданных литургическим обязанностям) в изыскании средств, как бы улучшить свое служебное положение. Поэтому он принадлежит к политической партии — и три раза в неделю, вечером, пьет чай у главы партии, угощая дам ячменным сахаром. Он очень ловко управляет выборами. Оказывает услуги и исполняет сложные и замысловатые поручения всех главных директоров Секретариата Духовных Дел. Для своего епископа он не знает усталости, и еще несколько месяцев тому назад я его встретил обливающегося потом и расстроенного двумя поручениями его святейшества: одно касалось пирожного из Синтры, другое комплекта Правительственного Вестника.

Я еще ничего не сказал о его уме. Он у него практичен и методичен, как я убедился, присутствуя на его проповеди в праздник св. Венанция. За эту проповедь по заказу патера Салгэйро получил двадцать тысяч рейс, и за такую цену он дал полную, документированную проповедь, заключающую все, что полагается для прославления св. Венанция. Он установил происхождение святого; изложил точно все его чудеса (их мало), перечисляя даты, цитируя авторитеты; рассказал с суровостью агнографа о его мученичестве; перечислил все посвященные ему церкви и указал время их основания. Искусно вставил похвалу министру Духовных Дел. Не забыл и королевской семьи, воздав ей конституционную хвалу. В итоге получился превосходный реферат о св. Венанции.

Я с жаром поздравил в тот же вечер патера Салгэйро. Он пробормотал скромно и просто:

«К несчастью, св. Венанций неблагоприятная тема. Он не был епископом, никогда не исполнял общественных

обязанностей. Во всяком случае, я думаю, что я исполнил свой долг».

Я слышу, что он будет назначен каноником. Он вполне этого заслуживает. У Христа нет лучшего прислужника. И я, правда, никогда не мог понять, почему другой мой друг, монах из Варатожа, который по восторженности своей веры, по своему великому милосердию и мучительной заботе об умиротворении души напоминает мне древних евангельских людей, всегда называет этого столь ревностного служителя, столь пунктуального, столь успевающего, столь почтенного — «ужасным патером Салгэйро»!

Посмотрите, крестная! Более тридцати или сорока тысяч лет необходимо для разрушения и изменения горы до величины холмика, на который взбирается, резвясь, козленок. И менее двух тысяч лет оказалось достаточно, чтобы низвести христианство от великих отцов семи церквей Азии до занимательного патера Салгэйро, представителя не семи церквей, и даже не одной, а только и очень скромно Секретариата Духовных Дел. Это падение доказывало бы хрупкость божественного, если бы на самом деле божество не заключало в себе религии, горы и Азию, отца Салгэйро, резвящихся козлят, все, что распадается, и все, что вновь создается, и даже Вашего крестника, чрезвычайно человеческого.

Фрадик.

XV.

Бенто де С.

Париж, октябрь.

Мой дорогой Бенто!

Что за пагубная и ужасная мысль основать газету пришла тебе в голову! Выпуская в большом формате с телеграммами и хроникой один из тех «печатных листов, которые появляются каждое утро», как боязливо и осторожно выражается парижский архиепископ, ты будешь

среди твоих современников, у тебя на родине способствовать еще большей легковесности и без того уже легковесных умов, усилению тщеславия и нетерпимости. Легковесность умов, тщеславие и нетерпимость — вот три мрачных общественных греха, совершающих моральное убийство общества! И ты весело готовишься их разжигать. Бессознательно, как чума, ты сеешь смерть в душах. И наверно диавол уже подкладывает больше огня под засмоленный котел, где ты будешь выть и вариться после страшного суда, мой осужденный на вечные мучения Бенто!

Не думай, что я озлобленный моралист и преувеличиваю, как какой-нибудь Иоанн Златоуст. Порассуди-ка лучше: ведь, неоспоримо, что печать со своей поверхностной, легкой и ветреной манерой всё утверждать и обо всем судить еще больше укоренила в наше время пагубную привычку легковесных суждений. Всегда, конечно, существовали необоснованные мнения: грек был опрометчив и болтлив, уже Моисей страдал в бесконечной пустыне от изменчивого ропота евреев. Но только в наш торопливый век эти бесстыдные измышления стали главным естественным процессом ума. За исключением нескольких философов, поработанных методом, и нескольких святош, изъеденных сомнением — совестью, все мы разучились теперь, или скорей — радостно освободились от трудной работы проверки. На основании зыбких впечатлений мы образуем твердые суждения. Чтобы судить о самом сложном факте в политике, мы вполне довольствуемся слухом, подхваченным на углу улицы в ветреное утро. В литературе, чтобы оценить самую серьезную книгу, с новыми идеями, крепко сцепленными любовной работой долгих лет, нам достаточно перелистать несколько страниц сквозь заволакивающий дым сигары. Особенно ошеломляет меня наша поверхностность в деле суждения. Мы непринужденно и гордо объявляем: «Этот — дурак! Тот — негодяй!» А провозглашаем мы: «Он гений!» или «Он святой!» только после серьезной борьбы. Но бывает и так, что, когда хорошее пиццерия или нежный свет майского неба склоняют нас к благожелательности, мы тогда со странной снисходительностью, едва

бросив рассеянный взгляд на избранника, даруем ему венок или ореол. И вот выставляется на показ бездельник, украшенный лаврами, или окруженный лучами. Так проводим мы благодатные дни, штампуя ярлыки на спине людей и вещей. Нет индивидуального или коллективного действия, личности, человеческого творения, о котором мы не были бы готовы произнести свое напыщенное и пустое мнение. А мнение имеет базой только одну маленькую сторону факта, человека, дела, неожиданно прошедшую перед нашим скользким и случайным взглядом. По одному жесту мы судим о характере; по одному характеру оцениваем народ. Один англичанин, с которым я путешествовал некогда по Азии, ученый муж, сотрудник ряда Обозрений, член Академий, считал всех французов, начиная с сенаторов и кончая метельщиками, «свиньями и ворами». . . Почему же, Бенто? А потому, что в доме его свекра был лакей, повидимому, по происхождению дижонец: он не менял воротничков и таскал сигары. Этот англичанин служит прекрасной иллюстрацией нашей позорной манеры делать обобщения.

И кто укоренил в нас эту привычку прискорбного легкомыслия? Газета. Каждое утро она предлагает от хроник до объявлений пенящуюся массу легких суждений, с импровизированных накануне вечером, в полночь, при шипении газа и среди блесков остроумия, прекрасными молодыми людьми, которые врываются в редакцию, хватают лист бумаги и, даже не снимая шляпы, двумя росчерками пера решают все вопросы неба и земли. Идет ли речь о революции в государстве, о прочности банка, о ферии, о поезде, сошедшем с рельс, — росчерк пера одним взмахом судит и распространяет дальше. Никакого изучения, никаких подтверждений, никакой точности. Еще в это воскресенье, Бенто, высокоосведомленная парижская газета, обсуждая политическое и экономическое положение Португалии, авторитетно уверяла, что «в Лисабоне сыновья самых известных аристократических семейств служат носильщиками в таможне и в конце каждого месяца посылают своих лакеев за получкой жалованья!» Что ты скажешь об этих наследниках исторических домов Португалии, таскающих

бочки масла по платформе таможи и сохраняющих слуг для хождения за жалованьем? Эти бочки, эти дворяне, эти лакеи носильщиков образуют прелестную фантастическую таможенную скорей из Тысяча и Одной Глупости, чем из Тысяча и Одной Ночи. Но так осведомлена солидная и богатая газета, обладающая энциклопедиями, картами, статистиками, телефонами, телеграфом, с очень образованным и хорошо оплачиваемым штатом редакции, который знает Европу, принадлежит к Академии Моральных и Социальных Наук и законодательствует в Сенате! И ты, Бенито, в твоём листке, также снабженном энциклопедиями и телефонами, потрясая пером, низвергнешь на Францию и на Китай, и на весь несчастный мир, становящийся отныне твоим материалом и твоим достоянием, веские и доказанные суждения в роде тех, которые так решительно собрала эта почтенная газета по поводу нашей таможи и нашего дворянства...

Это первый грех, грех очень черный. Взгляни теперь на другой, еще более черный. Через газету и репортаж, ее главную функцию и силу, ты распространяешь среди твоих современников у тебя на родине все недуги тщеславия! Я знаю, что репортаж, очень полезный поставщик истории. Конечно, важно было знать, крючковатый или плоский нос был у Клеопатры, потому что от его формы в продолжение некоторого времени, от Филиппа до Акциума¹⁾, зависели судьбы вселенной. И чем больше деталей открывают, рыская, пронырливые репортеры о господине Ренане, об его мебели, белье, тем больше положительных элементов будет у XX века для безошибочного восстановления личности автора Происхождения Христианства и, через нее, для понимания его сочинений. Но так как репортаж занимается теперь меньше тем, кто влияет на дела мира или направляет мысли, чем, как говорит библия, «судьбой и жизнью пустых людей»,

¹⁾ Филиппы — город во Фракии, место сражения между Октавианом и Антоном, с одной стороны, и Брутом и Кассием, с другой, в 42 г. до Р. Хр., — Акциум — мыс в Греции, место победы Августа над Антоном (31 г. до Р. Хр.).

начиная с жокеев и кончая убийцами, то неразборчивая гласность мало способствует собиранию исторических документов и зато много, чрезмерно, бесстыдно пропаганде тщеславия!

Газета, в самом деле, как неутомимый мех, дует на человеческое тщеславие, раздувает и распространяет его пламя. Во все времена существовало человеческое тщеславие! Уже плаксивый Соломон жаловался на него, и из-за него погиб Алкивиад, может быть, величайший из греков. Однако, бесспорно, Бенито, никогда тщеславие не было таким стремительным двигателем мысли и поведения, как в наш проклятый XIX век. В этом шумном и пустом состоянии цивилизации все исходит от тщеславия, все стремится к тщеславию. И новая форма тщеславия цивилизованного человека состоит в том, чтобы увидеть в газете упоминание о своей славной персоне и свое имя, напечатанное полностью! Попасть в газету! Вот к чему нетерпеливо стремятся в наши дни, вот в чем видят высшую награду! При аристократическом правлении старались добиться если не милостей, то, по крайней мере, улыбки короля. В наших демократиях большинство смертных желают получить в семи строках похвалу газеты. А чтобы завоевать эти семь благословенных строк, люди совершают всякие деяния — даже добрые. Даже добрые, Бенито! Наш великодушный друг Z... посылает семь тысяч рейс в Детские Ясли только затем, чтобы газета восхвалила семь тысяч рейс Z..., нашего щедрого друга. И даже не надо много меду и каждения в этих семи строках: достаточно, если имя напечатано на видном месте, очень жирным шрифтом, той черной краской, блеск которой прельщает больше, чем во времена святых прельщал золотой ореол. И нет класса, который бы не был снедаем этой болезненной жадностью рекламы. Она одинаково точит как людей общества и высшего света, так и тех, кто казалось, только и любил в жизни, как ее наилучшую форму, покой и тишину... У нас настал пост (среда первой недели поста, и потому я читаю тебе наставление). Теперь в эти постные дни из своих монастырей появляются братья-доминиканцы, чтобы проповедывать с кафедр Парижа. И к чему эти сенсационные

проповеди, театральные и светские, с изложением любовной психологии, с аффектацией евангельского анархизма, так легко создающие скандалы, что весь Париж сбегается с большим рвением в Собор Богоматери, на вечер с доминиканцем, чем во Французскую Комедию на гастроль Коклена? А потому, что монахи, сыны св. Доминика, желают семи строчек в бульварных газетах и известности гистрионов. Газета простирает над миром свои два листа, испещренные черным, в роде тех двух крыл, с которыми иконописцы XV века изображали Похоть или Обжорство. И весь мир бросается за газетой, хочет укрыться под ее два крыла, потому что они поднимают его к мелочной славе, рассыпают по воздуху его звучное имя. Ради этой мелочной славы мужчины гибнут, женщины падают, политики нарушают государственный порядок, художники бегут за эстетической экстравагантностью, мудрецы демонстрируют причудливые теории, и из всех углов, из всех классов подымается улюлюкающая орда шарлатанов... (Как я, однако, напыщен и трескуч!..) Но это правда, Бенто! Посмотри, насколько люди предпочитают брань неизвестности! (Писаки, стихоплеты, дантисты и т. д.) Само зло жаждет семи строк, где бы его изругали. Для того, чтобы появиться в газете, убийцы убивают. Даже старый инстинкт самосохранения уступает новому инстинкту известности: и иной чудак, при виде похорон, обращенных в апофеоз, благодаря обилию венков, колясок, ораторских слез, задумчиво облизывает губы и хочет быть на месте покойника.

Этим летом, рано утром я зашел в таверну на Монтмартре за спичками. Около цинкового прилавка, перед двумя стаканами белого вина стоял какой-то бездельник; своими приплюснутыми ноздрями, лохматыми висячими усами, норковым беретом он напоминал и вполне справедливо, гунна, пережиток орд Алариха. Он торжественно воскликнул, обращаясь к другому безбородому испитому бродяге, швырнув ему газету:

— Верно, черным по белому, полностью мое имя! Во втором столбце, сейчас же наверху, где говорится: вчера бесстыдный и мерзкий бандит... Это я! Все имя полностью!

И он медленно обвел кругом самодовольным взглядом. Вот тебе, как теперь высокопарно говорится, «состояние души!» Ты, Бенто, будешь создавать эти состояния.

Теперь посмотри на последний, самый черный грех. Ты основываешь твоей новой газетой новую школу нетерпимости. Вокруг тебя, твоей партии, твоих друзей ты воздвигаешь стену из мелкого камня, хорошо цементированную; внутри, за этой стеной, на которой ты водружаешь твое знамя с обычным провозглашением беспристрастия, бескорыстия и т. д., только и будет, как говорит Бенто и его газета, разум, достоинство, знание, энергия, общественность; вне этой стены, как говорит газета Бенто, по необходимости только глупость, низость, инертность, эгоизм, торгашество! И партийная дисциплина (чтобы угодить тебе, я понимаю ее в самом широком смысле, то-есть она включает в себе литературу, философию и т. д.) накладывает на тебя роковым образом это занятное разделение пороков и добродетелей. С того момента, как ты вступишь в битву, ты никогда не сможешь допустить, что разум, или справедливость или польза встретятся на стороне тех, против кого ты выпускаешь шипящие залпы прилагательных и глаголов, потому что иначе приличие, если не совесть, заставили бы тебя перескочить через стену и бежать к тем праведникам. Ты должен будешь утверждать, что они зловредны, забираются, негодяи и вполне заслуживают твоего убийственного свинца. От подошв до твоих редких волос, Бенто, ты увязнешь в нетерпимости! Всякую возникающую за стеной мысль ты объявишь гибельной, даже не рассматривая ее, только потому, что она появилась на десять локтей дальше, среди тех отверженных, а не между твоими избранными. Если те, другие осуществляют какое-нибудь дело, Бенто не пожалеет ни мускулов, ни прозы, чтобы погубить его, и если, бросая в него камни, он случайно обнаружит в нем что-либо красивое или полезное, он с большею яростью dokonчит его разрушение, потому что его друзьям было бы обидно, что

нечто прекрасное или полезное родилось у его врагов — и живет. В людях, пребывающих за стеной, ты будешь видеть только грешников, и если бы ты узнал среди них св. Франциска Ассизского, раздающего бедным последние оболы Порциункулы¹⁾, ты закрыл бы лицо, чтобы не растрогаться такою святостью, и гневно закричал бы: «Там этот бездельник с другими бродягами растрчивает все украденные деньги!»

Таков будешь ты со своей газетой. И тот, кто ее покупает и медленно усваивает ее своей нравственной природой, делается твоим подобием. Всякая газета источает нетерпимость, как перегоняется алкоголь в реторте, и каждое утро толпа отравляется глотками этого соблазнительного яда. Ведь, это газеты ожесточают все старые мировые конфликты, и души, потеряв евангельскую кротость, отвергают снисходительность. Общественность непрестанно смягчает и сглаживает все человеческие разногласия, как река сглаживает и округляет все валуны, которые в ней катятся. Под влиянием старости и долгой культуры человечество, ставшее общительным и мягким, стремилось бы к наибольшему миру, если бы каждое утро газета не оживляла ненависть принципов, классов, рас, и своими криками не подзадоривала их, как науськивают дворняжек, пока они не взбесятся и не начнут кусаться. Газета исполняет теперь все зловерные функции усопшего сатаны, наследовав от него его вездесущность: она не только мать лжи, но и мать раздоров. Она, с одной стороны, возбуждает самые хищнические требования, с другой — поставяет камень и известку самому несправедливому упорству. Посмотри, когда возникает стачка, или между двумя нациями происходит неожиданное столкновение интересов, или в духовном ордене выдвигаются два враждебных верования, — первое движение людей, смягченных долгим общением и цивилизацией и потерявших воинственность, — прошептать: «Мир! Будьте благоразумны!» и протянуть друг другу руку тем унаследованным от предков жестом, с которым заключались договоры.

¹⁾ Церковь, посвященная Марии Деве, известная из жизнеописания св. Франциска.

Но является газета, яростная, как античная фурия: она их раз'единяет, вдыхает им в душу непримиримость и толкает их на битву, наполняя атмосферу сутолокой и пылью.

Газета убила мир на земле. И она не только раздувает вопросы уже угасшие, как пепел очага, и выбивает из них снова бешеное пламя, но даже придумывает новые распри, вроде нарождающегося антисемитизма, который повторит раньше конца века анахронические и жестокие преследования средних веков. Потом газета...

Но послушай! Одиннадцать часов! Мои старые часы, наигрывая менуэт Глюка, легко бьют одиннадцать часов. Теперь пусть это письмо уже отправляется, как письмо Тиберия, ужасное и широковещательное, *verbosa et tremenda epistola*, а я тороплюсь кончить, чтобы успеть до завтрака с наслаждением почитать газеты.

Твой Фрадик.

XVI.

Кларе...

(Пер.)

Париж, октябрь.

Моя горячо любимая Клара!

Полное жалоб, почти ворчливое и мысленно одетое в траур, сегодня с первыми октябрьскими холодами явилось твое письмо. И чем, моя милая, ты недовольна? Тем, что я более жесток сердцем, чем Трастамара или Борджа¹⁾, и за пять дней (пять коротких осенних дней) не послал тебе ни одной строчки, где бы подтверждал истину, столь очевидную и известную тебе, как солнечный

¹⁾ Дон Энрике, граф Трастамара, побочный сын кастильского короля Альфонса XI (ум. в 1350 г.); он боролся за престол со своим братом королем дон Педро I Жестоким, и собственноручно убил его (1369 г.). После этого он вступил на престол под именем Энрике II (ум. в 1379 г.). Борджа — фамилия, прославившаяся в эпоху Возрождения; к ней принадлежали папа Александр VI (ум. в 1503 г.) и его сын Чезаре (1475—1507).

круг: «Только о тебе я думаю и только тобою живу!». Но разве ты не знаешь, о возлюбленная, что воспоминание о тебе бьется в душе моей так же постоянно и естественно, как кровь в сердце? Что другое поддерживает мою жизнь и управляет ею, как не твоя любовь? Разве действительно тебе еще каждое утро нужно твердо написанное уверение в том, что моя страсть все живет, пышно цветет и шлет тебе привет? Зачем это? Чтобы успокоить твои сомнения? Боже мой! Скорей не для удовлетворения ли твоей гордости? Ты знаешь, что ты богиня, и требуешь непрерывного курения ладана и славословий от твоего поклонника. Но св. Клара, твоя патронесса, была женщина знатного происхождения, торжествующей красоты, подругой св. Франциска Ассизского, наперсницей Григория IX, основательницей монастырей, сладким источником благочестия и чудес — и все-таки ее память празднуется лишь один раз в году, двадцать седьмого августа!

Ты знаешь, что я шучу, святая Клара, в которую я верю! Нет! Я не посылал тебе этой излишней строки, потому что все беды обрушились внезапно на меня: глупейший насморк, сопровождаемый меланхолией, слабостью и чиханием; запутанная дуэль, в которой я был скучающим секундантом, и пострадала только ветка багряника, срезанная пулей; и, наконец, вернувшийся из Абиссинии приятель, страшно абиссинизированный; и я должен был с покорным удивлением выслушивать рассказы о караванах, опасностях, любовных приключениях, подвигах и львах! И вот почему моя бедная Клара, одинокая среди своих лесов, осталась без листа с моими письменами, столь же ненужного для уверенности ее сердца, как окружающие ее листья, уже, наверно, увядшие и танцующие на ветру.

Я не знаю, как ведут себя твои леса, но здесь листья моего бедного сада пожелтели и валяются на сырой траве. Чтобы утешиться и забыть о погибшей зелени, я зажег огонь в камине, и прошлую ночь погрузился в очень древнюю хронику средневекового летописца моей родины, Фернана Лопеша¹⁾. Здесь рассказывается о ко-

¹⁾ Португальский историк (1380—1450).

роле с бесцветным именем Красивого: из великой любви, он презрел принцесс Кастилии и Арагона, растратил сокровища, претерпел восстание, перенес охлаждение народа, потерял вассалов с замками и землями и почти погубил королевство! Я уже раньше знал эту хронику, но только теперь понимаю короля. И я от всей души завидую ему, моя прекрасная Клара! Когда любишь так, как он (или я), должно чувствовать великое удовлетворение, когда можешь пожертвовать принцессами христианского мира, сокровищами, народом и сильным царством ради двух глаз, изящных и тоскливых, улыбающихся тому, что ожидают, и еще тому, что обещают... Поистине любить должен только король, потому что только тогда можно доказать величие чувства великолепием жертвы. У простого вассала, как я (без войска и замка), какое у него богатство, благородство, красота для жертвы? Время, счастье, жизнь? Жалкие блага. Все равно, что предложить на ладони немного праха. И, кроме того, имя возлюбленной даже не останется в истории.

Что касается истории, я очень одобряю, моя прилежная Клара, что ты продолжаешь читать историю божественного Будды. Ты с огорчением говоришь, что он тебе кажется только очень сложным Иисусом. Но, моя любовь, необходимо извлечь этого бедного Будду из-под толстого слоя легенд и чудес, который наложил на него на протяжении веков воображение Азии. Если освободить ее от мифологии, представить в ее исторической наготе, такой, какою она была, то мы убедимся, что никогда лучшая душа не посещала земли, и никакая героическая добродетель не сравнится с «ночью отречения¹⁾». Иисус был пролетарий, нищий без виноградника и клочка земли, безо всякой земной привязанности; он бродил по полям Галилеи, увещевая людей оставить, подобно ему, свои очаги и имение и спуститься к одиночеству и нищенству, чтобы потом проникнуть в блаженное, отвлеченное царство на небесах. Он сам ничем не жертвовал, а других побуждал к жертве, низводя всё великое до уровня своего смирения. Будда же, напротив, был царь

¹⁾ Ночь, в которую Шакья-Муни ушел из дому.

и, как это обыкновенно бывает в Азии, с неограниченной властью, с безмерным богатством; он женился по большой любви, и от брака у него родился сын, отчего эта любовь стала еще возвышеннее. И этот царь, этот супруг, этот отец оставляет из любви к людям свой дворец, возлюбленную супругу, сына, уснувшего в перламутровой колыбели, и под грубой власяницей нищего идет по миру, прося милостыню и проповедуя отказ от наслаждений, уничтожение всякого желания, безграничную любовь к тварям, неустанное совершенствование в жалости, глубокое презрение к аскетизму, который сам себя мучит, вечное осуществление искупающего милосердия и бесстрашие перед смертью...

На мой взгляд (насколько эти великие факты можно распознать, сидя в парижском доме в XIX веке и с насморком) жизнь Будды, несомненно, имеет больше заслуг. И взгляни на разницу учений обоих божественных учителей. Один, Иисус, говорит: «Я сын бога и требую от каждого из вас, смертные люди, совершения добрых дел в те немногие годы, которые вы проводите на земле, чтобы затем я дал каждому из вас в отдельности в награду высшее существование, бесконечное по времени и по наслаждениям, в обители моего отца, там на небесах!» Будда же говорит просто: «Я бедный нищий монах и прошу вас, будьте добры в продолжение жизни, потому что в награду за это от вас родятся другие, лучшие, и от этих лучших еще более совершенные, и так через возрастающее осуществление добродетели в каждом поколении мало-по-малу на земле установится всеобщая добродетель!» Справедливость справедливого приносит, согласно Иисусу, эгоистическую пользу только праведнику. Согласно Будде, справедливость справедливого приносит пользу существу, заменившему его в жизни, и потом другому, рожденному от этого последнего во время его пребывания на земле, к вечной выгоде земли. Иисус создает аристократию святых; она увлекает на небо, где он царствует, и образует там небесную свиту для услаждения его божественности. И нет от нее прямой пользы для мира, потому что он продолжает страдать от доли зла, никогда не уменьшающейся. Будда же

через сумму индивидуальных бережно накапливаемых добродетелей, создает человечество, которое с каждым поколением рождается лучшим, которое, наконец, делается совершенным и распространится на весь мир, откуда исчезнет зло, и где Будда всегда будет тем же нищенствующим монахом на краю каменистой дороги. Я, моя радость, за Будду. Во всяком случае, оба эти Учителя обладали наибольшей долей божественности, нужной для человечества, и когда-либо вмещавшейся в человеческой душе. Впрочем, всё это очень сложно, и ты поступила бы умно, оставив Будду с его буддизмом; и, раз твои леса так восхитительны, закаляйся в их силах и здоровых ароматах. Будда принадлежит городу и Collège de France¹⁾. В деревне истинная наука должна спадать с деревьев, как во времена Евы. Какой-нибудь лист вяза научит тебя лучше, чем все книжные листы, и гораздо больше, чем я со своею проповедью и педантичным чтением возмутительного курса сравнительной истории религий перед твоими прекрасными глазами, такими изящными и ласковыми.

У меня осталось только три дюйма бумаги, а я еще не рассказал тебе, о милая изгнанница, о деяниях Парижа, acta Urbis²⁾. (Прекрасно, теперь начинается латынь!) Их мало, и они бледны. Идет дождь, мы продолжаем жить при республиканском режиме: госпожа Жуарр, вернувшись из Ромы с меньшим количеством седых волос, но более жестокой, пригласила несколько несчастных (из них самый несчастный я), чтобы выслушать три главы нового покушения барона Фернэ на Грецию: газеты публикуют другое предисловие господина Ренана, полное господина Ренана, где он обнаруживает себя, как всегда, трогательным викарнем Господа Нашего Разума: и, наконец, брак по страсти и расчету нашего похожего на античную статую виконта Фонблана с девицей Деграв, этой носатой худышкой с плохими зубами, которая чудесно наследовала два миллиона от пивовара, так мило пополнила и улыбается такими красивыми зубами. Вот

¹⁾ Знаменитое ученое учреждение в Париже.

²⁾ «Деяния города (Рима)».

и все, моя обожаемая... И пора послать тебе в этой строчке кучу вздохов, желаний, всего того жгучего, нежного и безыменного, чем преисполнено мое сердце, что никогда не оскудевает, хотя я всё повергаю к твоим прелестным ногам, целуя их с покорностью и верой.

Фрадик.

Последнее письмо Фрадика-Мендеша.¹⁾

Эдуардо Прадо.

Дорогой Прадо!

Ваше премилое письмо застало меня в столь любезный всем набожным людям Иванов день, в уединении тенистых рощ, у прохладных ручьев, где я отдыхаю от мрачной роскоши Амазонки и от утомительного блуждания по волнам Атлантики.

Я не забуду о сапских кэйжадах²⁾; Фикальо, который вчера обедал здесь со мной, философствуя *sub tegmine fagi*³⁾, принял из моих рук точное исследование своего соотечественника о *Muscina Glabra* и посвященные ей изображения; обе вазы с Рато⁴⁾ с крестом ордена Авиш⁵⁾ отправляются в воскресенье, и пусть господь умножает в них, вечно обновленные и вечно свежие, те розы жизни, которые Анакреон сулит праведникам. Все это было

¹⁾ Это письмо не включено Эсой де Кайрошем в «Переписку»; оно было найдено в бумагах после его смерти (1900 г.) и опубликовано в 1912 г. в сборнике «Последние страницы» (*Eça de Queiroz, Últimas paginas. Porto, Chadron. 1912; p. p. 447—456*). Нам кажется естественным поместить его рядом с другими письмами «Переписки».

²⁾ «... о сапских кэйжадах»; Сапа — городок Бразилии (?); кэйжада (*queijada*) — сладкий пирог с творогом и яйцами.

³⁾ «*Sub tegmine fagi*» — под сенью бука; цитата из римского поэта Вергилия (70—19 до Р. Х.), см. I Эклога, ст. I. Это выражение приводится (уже не по-латыни) несколькими строками ниже; ср. прим. I, стр. 196.

⁴⁾ Рато — площадь в Лисабоне см. I, V этой «Переписки».

⁵⁾ Имеется в виду знак монашеского ордена Авиш, основанного в XII ст.

очень легко и приятно исполнить. Более трудной и сложной задачей для меня будет высказать мое мнение о Вашей Бразилии, как Вы того настойчиво требуете... Меньший скептик, чем Пилат, Вы добываетесь Истины, голой Истины, без шовинизма и без прикрас... Откуда мне взять эту Истину? Увы, божественный колодец, в котором она обитает под сенью кипариса и лавра, обретається не в вилле «Сарагоса». Единственное, что я могу сделать, это поделиться с Вами впечатлениями человека, который кое-где побывал и кое-что видел. И вот мое впечатление: начиная с императора и кончая рабочим, бразильцы расшатывают и, следовательно, разрушают Бразилию.

В начале столетия, лет 55—60 тому назад, когда бразильцы освободились от обеих болезней своей молодости, от золота и от колониального режима, для них настала единственная в своем роде минута, рисовавшая перед ними чудесное будущее. Возрожденный, свободный, здоровый народ, снова в полном расцвете сил, располагая неограниченными творческими возможностями, благодаря своей великолепной почве — бразильцы могли в этот лучезарный день основать ту особенную цивилизацию, которая им больше всего подходила, с той полной свободой, с которой художник лепит бездушную глину на своем рабочем станке и, по своему желанию, делает из нее горшок или изображение бога. Я не хочу быть непочтительным, дорогой Прадо; но мне представляется, что из двух возможностей Бразилия выбрала первую.

Всё окружающее, начиная с неба и кончая присущим им характером, всё это ясно указывало бразильцам, что они должны стать народом земледельцев. Не пугайтесь, мой сверхцивилизованный друг. Я вовсе не хочу сказать этим, что бразильцы должны продолжать патриархальный строй Авраама и Книги Бытия, воспроизвести землю Ханаанскую в провинции Минаш-Жейраш¹⁾, и пасти стада вокруг палаток, одеваясь в шкуры и вода посто-

¹⁾ Минаш-Жейраш в то время, когда пишет Фрадик Мендеш — провинция Бразильской империи; после революции 1889 и теперь — один из Восточных Штатов Бразильской Республики.

янную борьбу с Иеговой. И еще меньше, — чтобы они следовали примеру Аркадии, и чтобы все граждане стали Титирами и Мелибеями¹⁾, отдыхающими под тенью бука, и играли на свирели, как в эклогах... Нет; я просто хочу, чтобы бразильцы, отделившись от своего развращающего золота и от своего Дон Жуана VI²⁾, поселились на своих просторных полях и ждали, как на лоне непринужденной сельской жизни, и под ее влиянием в них станут зарождаться оригинальные в своей чистоте и по своей силе идеи, чувства, обычаи, литература, искусство, нравственная и философская система, целая стройная цивилизация, присущая только Бразилии и бразильцам, ни в какой мере не зависящая от книг, от мод, от вывезенных из Европы обычаев. Мне хотелось бы видеть естественную, непринужденную, подлинную Бразилию, Бразилию национальную и бразильскую, а не ту Бразилию, с которой мне пришлось познакомиться, и которая сделана из старых кусков Европы, привезенных на пароходе и наспех разложенных, как материя на ярмарке, среди чуждой им природы, отчего еще больше выступают покрывающие их плесень и пятна.

¹⁾ Титир и Мелибей — пастухи, выведенные Вергилием в его I Эклоге. В нарицательном смысле имена эти обозначают людей наивных и простых нравов.

²⁾ Дон Жуан VI правитель и король Бразилии. В 1808 г. Наполеон вынудил его (бывшего тогда регентом Португалии) искать убежище в Америке. С этого времени судьба Бразилии тесно связана с личностью этого правителя. Хотя он достаточно заботился об укреплении и развитии государственности Бразилии и в 1815 г. возвел ее в ранг королевства, тем не менее, Бразилия всегда оставалась в его глазах колонией Португалии. Интересы бразильцев всюду приносились в жертву экономической и международной политике Лисабона. Даже после того, как Дон Жуан VI после ряда народных восстаний покинул пределы Бразилии (1821 г.) и стал снова Португальским королем, он продолжал неизменно проводить прежнюю политику. Когда сын его Педро I, под давлением революционных всплесков, дал Бразилии конституцию, Дон Жуан VI грозил Бразилии политическими осложнениями. Соглашение было достигнуто при посредничестве английского министра иностранных дел Каннинга, состоявшего на договоре 29. VIII. 1825 г., по которому Бразилия брала на себя часть государственного долга Португалии (около 2.000.000 ф. стерлингов) и признавалась независимым от Португалии государством. Дон Жуан VI умер в марте 1826 г.

Вот чего бы мне хотелось, дорогой друг! И подумайте теперь только, как приятно было бы жить в бразильской Бразилии! Куда ни глянешь, богатые и обширные поместья. Простые, выбеленные дома, красота которых заключается только в роскоши беспредельных пространств, воздуха, вод, тени. Многочисленные семьи, в которых привычка к земледельческому труду, к охоте, к укрепляющим упражнениям, развили бы силу и усовершенствовали бы красоту тела. Умеренный и здоровый образ жизни; великое спокойствие духа; отчужденность от ложной суеты; серьезные и длительные привязанности...

Но, боже праведный! я, кажется, повторяю II-ую книгу Георгик! *Hanc olim veteres vitam coluere Sabini...* Так жили древние сабинцы; так жили Ромул и Рем; так окрепла храбрая Этрурия; так прекраснейший Рим охватил семь холмов и стал мировым чудом! Я не требую для Бразилии золотых, классических добродетелей века Сатурна. Я хотел бы для нее только простой, сильной, оригинальной жизни, какую вела вторая половина Америки, Северная Америка, прежде чем Индустрализм, Меркантилизм, Капитализм и Долларизм, и все эти социальные «измы» сегодняшнего дня начали подтачивать ее и делать шумной и грубой; когда колонисты были степенными пуританами; когда плуг облагораживал человека; когда воспитание и образование были в руках земледельцев; когда поэты и учителя нравственности жили в деревянных домах, выстроженных их же собственными руками; когда великие врачи верхом обезджили свой округ, попросту везя с собой свою аптеку в широких седельных мешках; когда губернаторы и президенты республики выходили из скромных поместий; когда женщины ткали полотно для своего хозяйства и ковры для своих жилищ; когда простота нравов соответствовала простоте сердец; когда земледельцы образовывали класс, который по своим возвышенным качествам, по знаниям и уму мог с достоинством исполнять все должности в государстве; и когда новая Америка удивляла мир своей могучей и плодотворной оригинальностью.

И вот, дорогой друг, вместо того, чтобы избрать этот

образ жизни, который дал бы Бразилии свою собственную, подлинную цивилизацию, удивительно прочную и красивую, что же сделали бразильцы? Лишь только скрылись в туманах Атлантики корабли государя дон Жуана VI, как бразильцы, став господами Бразилии, покинули свои поля, сбились в кучи в городах и принялись без удержу, стремительно копировать нашу европейскую цивилизацию в том, что в ней было наиболее показного и удобного для подражания. В короткий срок Бразилия покрылась чуждыми ей учреждениями, можно даже сказать противными ее характеру и ее судьбе, переведенными на-спех из старых французских учебников. Газета, передовица, дутая конституционная риторика, тирания общественного мнения, наглые приемы полемики, все интриги политиканства — всё это стало ее обычными болезнями.

Старые и простые нравы были отброшены с пренебрежением; каждый мужчина стал добиваться для своей головы баронской короны, и при 47 градусах жары в тени дамы начали таять под своими гургуранами¹⁾ и роскошным бархатом. В домах уже не оставалось больше ни одного скромного соломенного стула, на котором тело обретало бы отдых и прохладу; появился яркий дамаск, мебель с золочеными ножками, портьеры с крупной бахромой, все то убранство из тяжелой материи, которое оберегает Париж и Лондон от зимнего холода, и является царством Микроба. Немедленно же потянулись один за другим недуг старых цивилизаций, туберкулез, заразные болезни, катарр желудка, неврозы, всё это медленное вырождение расы. И лучезарная Бразилия стала чахнуть, как Европа, насчитывающая три тысячи лет излишеств, три тысячи лет ужинов и революций!

В ней уже была своя Демократия, свой ИндустрIALIZED, Акционерная компания, во всей разнузданности ее бесчисленных форм, электрическое освещение, «французский яд» под главными марками шампанского и романа. Она созрела для высших тонкостей, и заказала тогда для себя позитивизм и оперу-буфф, которые ей были доставлены

¹⁾ Гургуран — ткань из индийского шелка.

на пароходе. Началась ужасная оргия: индейцы научились распевать «Мадам Анго», а розничные торговцы цитировали Огюста Конта... К чему удлиннять этот печальный перечень? Очень скоро от Бразилии, от благородной, старой Бразилии, ничего не осталось; не осталось даже бразильцев, потому что имелись только доктора, а это существа совсем особенные. Вся нация превратилась в докторов. С самого севера до самого юга Бразилии я встречал только докторов, да больше никого там и нет! Доктора со всякого рода знаками отличия, со всякого рода должностями! Доктора, опоясанные шпагой, во главе войска; доктора, с бумажниками, основывающие банки; доктора с лотом в руке, командующие кораблями; доктора, со свистком, руководящие полицией; доктора с лирой, поющие гимны; доктора с ватерпасом, строящие здания; доктора с весами, приготавливающие лекарства; доктора без чего бы то ни было, управляющие государством!.. Все доктора. Доктор подполковник... Доктор вице-адмирал... Доктор главный полицеймейстер... Доктор архитектор... Люди умные, образованные, воспитанные, любезные, — но только все доктора! И это не безобидный титул: он сообщает определенный отпечаток. Такое несоразмерное количество докторов окутывает Бразилию атмосферой «докторизма».

А особенность «докторизма» — в пренебрежении реальностью, в привычке обо всем заключать à priori и стремлении устраивать мир и управлять им согласно правилам учебников. Наиболее совершенное его выражение я нашел в докторе, министре внутренних дел, который в вопросах общественной важности никогда не сообразовывался с нуждами нации, а беспокойно перелистывал книги, стараясь отыскать, что в имеющихся отдаленное сходство обстоятельствах сделали Гизо во Франции и Питт в Англии. Вот эти-то доктора, бразильцы по национальности, но не по любви к нации, с каждым днем лишают Бразилию ее национальных черт, убивают ее прирожденную оригинальность, с доктринерским упрямством морально и материально одевают ее в европейский костюм, сделанный из подражания Франции, с заплатами из чего-то вроде подражания Англии и Германии.

Таким образом, свободный дух нации постоянно и повсеместно подвергается искажению, уродованию, насилию в подлинных своих проявлениях: в политике это делают европейские учения; в литературе — европейские школы; в обществе — европейские моды.

Знаменитая хартия независимости 29 августа 1825 года¹⁾ ничего не дала умственному развитию. В умственном отношении Бразилия все еще колония, колония парижских бульваров. Литература, наука, обычаи, учреждения, все это ненационально; все это привозится из заграницы, запакованным в ящики, на бордосском пароходе, и таким образом этот мир, который гордо зовет себя новым, Новым Светом, на самом-то деле стар и дряхл, изборожден морщинами, этими болезненными морщинами, которые нам дали двадцать веков литературной жизни.

Я изъездил всю Бразилию в поисках нового и нашел только старое, то, что уже сто лет назад устарело у нас в Европе: наши старые идеи, наши старые привычки, наши старые формулы, и все это в еще более старом виде, изношенным до последней нитки, словно перевозка и действие солнца окончательно истрепаали их. Знаете, что мне пришло в голову: позвольте мне, по совету Бюффона, воплотить мои впечатления в материальный образ. Мне казалось, что по всей Бразилии поверх естественного и свежего ковра травы и цветов родной почвы... разостлан старый, потертый ковер, сделанный из лоскутьев европейской цивилизации. Можете ли Вы представить себе что-либо более ужасное? Взять благоустроенный сад, в полном цвету, и покрыть все шерстяным ковром, все удушить, все растоптать, и распутившиеся розы и готовые раскрыться бутоны, — продырявленным, пыльным, затхлым ковром!

Есть ли какое-нибудь средство от такого тягостного недуга? Конечно, есть. Нужно сорвать этот убийственный ковер. Но найдется ли гениальный Геркулес, способный взяться за этот священный подвиг? Не знаю.

И все же я думаю, что у Бразилии есть еще шанс вернуться к национальной, чисто-бразильской жизни. Когда

¹⁾ См. прим. 2, стр. 196.

империя исчезнет под натиском якобинско-позитивистической¹⁾ революции, которая уже дышит в школах, и которую доктора от литературы непременно должны будут произвести совместно с докторами от шпаги; когда, в свою очередь, эта якобинско-позитивистическая республика увянет, как растение, не имеющее корней в почве и искусственно перенесенное на нее, и в одно прекрасное утро исчезнет совершенно, унесенная европейским и доктринерским ветром, который принес ее; когда снова, без всякой борьбы, во дворце св. Христофора появится новый император или король, — тогда, повторяю, наступит для Бразилии возможность отделаться от «европейского ковра», который покрывает, уродует, душит ее. Шанс заключается в том, чтобы новый император или король был крепким, здоровым, представительным юношей, добрым бразильцем, любящим природу и ненавидящим книгу.

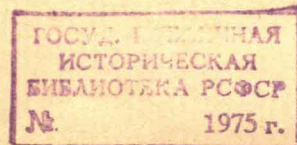
Ни в чем другом я не вижу спасения. Но в тот счастливый день, когда, сделав над собой героическое усилие, Бразилия решится стать бразильской, причислится к Новому Свету, тогда на земле появится великая нация. Мужчины там одарены умом; женщины — красотой, и у тех и других имеется самое прекрасное, самое лучшее из качеств: доброта. А нация, обладающая добротой, умом и красотой (и громадными запасами кофе) — такая нация может рассчитывать на великолепное будущее в истории, если она убедится, что лучше быть оригинальным земледельцем, чем доктором, плохо переведенным с французского.

Не сетуйте на меня за всю эту беспорядочную откровенность, и верьте, что я в такой же степени друг Бразилии, как и Ваш друг.

Париж — 1888.

Фрадик-Мендеш.

¹⁾ В революционных настроениях Бразилии автор письма, пишущий в 1888 г., разобрался правильно; революция произошла 15. XI. 1889; император Педро II был низложен и Бразильская империя, просуществовавшая 67 лет, объявлена республикой.



БИБЛИОГРАФИЯ.

Эса де Кайрош.

О нем по-русски были лишь небольшие журнальные заметки; напр.:

Вестник Иностранной Литературы 1911. № 9.

Е. Адамов — Современный Мир 1911 г. № 8. (Стр. 280—289).

А. Деренталя — Русские Ведомости 1912 г. № 150. (Литературные
силуэты молодой Португалии).

З. Журавская — Вестник Европы 1917 г. № 7—8.

Русские переводы его произведений:

(Перев. Т. Герценштейн) — Преступление отца Амара — «Современник»
1913 г. №№ 2—8.

Кузен Базилио — «Вестник Иностранной Литературы» 1911 г. №№ 1—8,
(Перев. З. Журавской) — Город и горы — «Вестник Европы» 1917 г.
№ 7/8—9/12.

(Перев. З. Журавской) — Измена. Изд. «Национальная библиотека».
Спб. 1917.